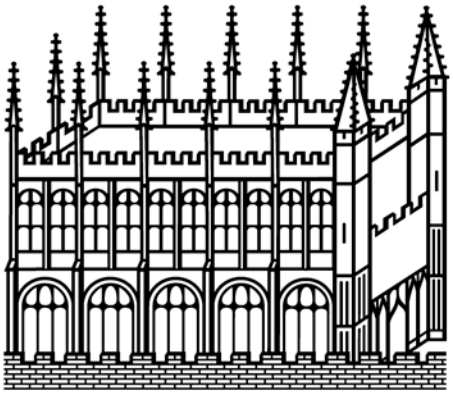


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

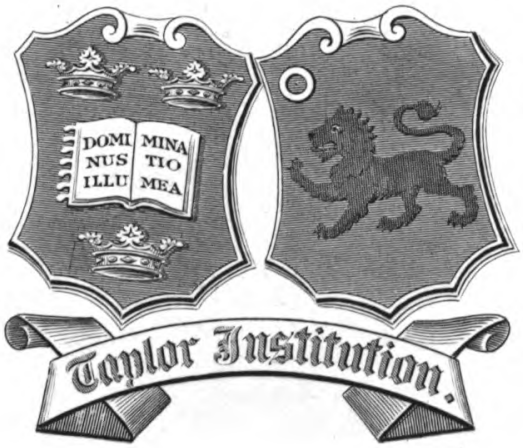
This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

300 J I 4



PG-3462. A1. 1923 (4)
= Rep. Slav. 447

TAYLOR INSTITUTION
OXFORD
LIBRARY

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

«КНИГА» О-ВО С ОГР. ОТВ.
БЕРЛИН
1923

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ФОМА ГОРДЕЕВ

VERLAG «KNIGA» G. m. b. H.
BERLIN
1923

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten.

Copyright by Kniga Verlag G. m. b. H. Berlin

АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ ЧЕХОВУ

М. ГОРЬКИЙ

I.

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, — на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и не глупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача, — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, — даже не могут — задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть — непобедима лишь для слабых духом; сильные же быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то, они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее . . .

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище — «Шалый», ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колеи, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых, — в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и когда Игнат подчинялся ее велениям, — он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая

всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою — замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятья и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую тридцатипяти-саженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее! . . . Ну-ка еще . . . жми-дави! . . . Ну, еще разок! . . .

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, — выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем! . . . Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, — гляди! Вот-те и «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала . . . Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла . . . Чай, не руки мне оторвало . . .

— Все таки . . .

— Что — все таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, — вперед — наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был . . .

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход — жалко было, точно . . . Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь, пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы

горят. И — хоть все сгори — плевать! Горела бы душа к работе . . . так ли?

— Н-да, — сказал Маякин, усмехаясь. — Это ты крепкие слова говоришь . . . И кто так говорит — его хоть догола раздень, он все богат будет . . .

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь, — поди, вот, дворнику моему помоги навоз убрать, — семишник дам . . .

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, — он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг — обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в исступление и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилен разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто, никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча слушал упреки жены, смирный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По

несколько часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты — видишь! . . — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему . . . Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание — желание иметь сына и, чем старее он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

— Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

— Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона какие, как гири . . .

— Я про чрево спрашиваю, дура . . .

— От такого бою разве можно понести?

— Не от бою ты не родишь, а от того, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей — ребенку и негде зародиться.

— Будто я не родила тебе? . . .

— Девок-то! — укоризненно говорил Игнат. — Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, — будет уж! Тебе оставить? Молельщица ты, — ты и во храме стоя о кулебяках думаешь. А помру я — опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку, — али я для этого работаю? Эх ты . . .

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его — бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти — они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену — как душу, тряси ее — как грушу»; но после каждых родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:

«Хороните без меня, наблюдай за имуществом» . . .

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен, как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темнорусой косой, она была достойной парой красавцу Игнату, а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.

Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, — всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно-спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела

тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно-глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная — Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебелей и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься — глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости — она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень. Он говорил про нее:

— Дерево — не баба! Однако, — жизнь, как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет . . .

— Эй, кулугурка! — шутливо говорил Игнат жене. — Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

— Больно уж ты часто по церквам ходишь . . . Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, — сперва нагреши. Знаешь: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься ... Ты, вот, греши, пока молода. Поедем кататься?

— Не хочется . . .

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупо отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

— Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

— Нет, — кратко отвечала она.

— Так что же — к своим, что ли, хочется?

— Да, — нет . . . так это! . . .

— О чем ты думаешь? . . .

— Я не думаю . . .

— А что же?

— Так . . .

Однажды он добился от нее более многосложного ответа:

— В сердце у меня — смутное что-то. И в глазах . . . И все кажется мне, что это — не настоящее . . .

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:

— Это ты напрасно! Тут все самое настоящее . . . вещь все дорогая, прочная . . . Но — захочешь — всю сожгу, распродам, раздарю и — новое заведу! Ну, желаешь?

— На что? — спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет — точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

— Вот погоди — родишь ты мне сына, — совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты от того печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу . . . Родишь, ведь, сына, а?

— Как Бог даст, — отвечала она, опуская голову.

Потом ее настроение стало раздражать его.

— Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит — ровно по стеклу, смотрит — будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, — дуреха!

Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:

— Наталья! Не дури, смотри.

Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:

— А то что будет?

Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.

— Что? — рявкнул он, наступая на нее.

— Прибить что ли хочешь? — не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.

Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, и ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.

— А — вот! . . . — крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но во-время, она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:

— Ежели тронешь, — больше ко мне не подходи! не допущу до себя!

Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже — зверь сильный и, если захочет, — не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.

— У-у, кулугурка! — рыкнул он и ушел.

Но, отступив пред нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтоб женщина и жена его не преклонилась пред ним: это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.

«Ладно! Поглядим, кто кого», — думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.

Но дня через четыре Наталья Фоминична об'явила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:

— Наташа . . . ежели — сын, ежели сына родишь — озолочу! Что там! Прямо говорю — слугою тебе буду! Вот — как перед Богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!

— В этом не наша воля, а Божья! . . — тихо и вразумительно сказала она.

— Да, — Божья! — с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой. С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком.

— Пошто села к окну? Смотри — надует в бок, захвораешь еще! . . — говорил он ей сурово и ласково. — Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь . . . А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало . . .

Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.

Когда наступило время родов, — это было рано утром осеннего дня, — при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул

рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампады, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали . . . Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно . . . До слуха Игната доносились подавленные голоса:

— Не разродится она так-то . . . в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили . . .

В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шопотом стала молиться:

— Господи Боже наш . . . благоволивый снити с небес и родитися от святые Богородицы . . . ведый немощное человеческого естества . . . прости рабе Твоей . . .

И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака . . . Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал:

— Неужто опять дочь будет?

Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, неопьянявшую его в эти часы, дремал, и — так провел весь вечер и всю ночь и утро до полудня . . .

И вот, наконец, сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:

— С сыном тебя, Игнат Матвеевич!

— Врешь?

— Ну, что это ты, батюшка! . . .

Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:

— Слава Тебе, Господи! Не восхотел Ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред Тобою . . . Спасибо Тебе, Господи! . . . И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать:

— Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий,

мол, Матвеич, просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать . . .

Явилась горничная и тревожно сказала ему:

— Игнатий Матвеич! Наталья Фоминишна вас зовет . . . плохо им . . .

— Чего плохо? Пройдет! — рычал он, радостно сверкая глазами. — Скажи — сейчас иду! Скажи — молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет! Стой! Закуску попу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!

Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате; потирал руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой . . . Наконец, пошел к жене.

Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог, и заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно-жалкое . . .

— Ты, тово, — осторожнее тискай . . . Ведь у него еще и костей-то нет . . . — сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.

Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.

— Иди к жене-то . . .

Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:

— Ну что, Наталья?

Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросавший тень на постель.

— Не выживу я . . . — раздался тихий, хрипящий голос.

Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утонувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизненное, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз — оно было чужое ему. И взгляд этих страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, — тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.

— Ничего . . . Это уж всегда . . . — тихо говорил он, на-

клоняясь, поцеловать жену. Но прямо в лицо его она повторила:

— Не выживу . . .

Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть — уже в ней.

— О, Господи! — испуганным шопотом произнес он, чувствуя что страх давит ему горло и не дает дышать.

— Наташа! Как же? Ведь ему — грудь надо? Что ты это!

Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом:

— Ты подумай, — ведь он без тебя не может, — ведь младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони! Гони ее . . .

Говорил и — понимал, ненужное говорит он. Слезы вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как льдина.

— Прости — меня — прощай! Береги, смотри . . . Не пей . . . — беззвучно шептала Наталья.

Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над нею умоляющие слова:

— «Владыко Господи Вседержителю, исцеляяй всякий недуг . . . и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели . . . и восстави ю от одра, на нем же лежит . . . зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачахомся и сквернави вси есмы пред Тобою . . .»

Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.

«. . . из нее рожденного младенца соблюди от всякого ада . . . от всякой лютости . . . от всякие бури . . . от духов лукавых, дневных же и нощных . . .»

Игнат безмолвно плакал. Слезы его большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, — умерла

так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой, темной бороде Игната смерть жены посеяла много седин, но в блеске его глаз явилось нечто новое — мягкое и ласковое.

II.

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива — запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.

Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, при чем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково-благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, — они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там, против воли отца, — Яков отрекся от него. А потом Тарас — пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь . . .

Яков Маякин — низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой, так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому:

— Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете — не выдам . . .

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица — одно проницательное и умное, с длинным хрящевым носом, всем видимое, а над ним — другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза, и губы, — прятал до времени, а, когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним — глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай читая «Московские Ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:

— Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, — стало быть я — человек чистой крови . . .

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту, и по серьезному взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина — Любой под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали «Бузя», — существо чем-то испуганное; даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.

С девочкой Фома жил дружно, но когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно таращил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и под нашептывание Бузи читал длинные молитвы. Потом — пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков.

После чая — летом — дети отправлялись в густой, огромный сад, спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор и там катались с большой ледяной горы.

В полдень обедали — «по-русски», как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками, потом жареное — поросенка, гуся, телятину или сычуг с кашей, — потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши, и заключалось все это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можжевелевый, хлебный, — их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда — ложились спать, и часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи.

Проснувшись — пили чай, и разговаривали о городских новостях, — о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении того или другого знакомого купца . . . После чая Маякин говорил жене:

— Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библию-то . . .

Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей — все ли на местах?

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое.

— «Был человек в земле Уц» . . . — начинал Маякин сиплым голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос — как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой все рос; дорастая до неба, он погру-

жал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом:

— «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?»

Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил:

— Ишь, ведь, как дерзит . . .

Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. — Не изломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными руками . . . И Фома снова видит человека — он сидит на земле, «тело его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его гноится». Но он уже маленький и жалкий, он просто — как нищий на церковной паперти . . .

Вот он говорит:

— «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»

— Это он — Богу говорит . . . — внушительно пояснял Маякин. — Как, говорит, могу быть праведным, ежели я — плоть? Это — Богу вопрос . . .

И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц.

— Удостоился . . . праведник . . . — вздыхая, отвечают они.

Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит:

— Дуры! . . . Ведите-ка ребят-то спать . . .

Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольно и с худо скрытым беспокойством говорил ему:

— Чего ты бука какой? Чего ты мало смеешься?

И жаловался куму:

— Боюсь я — Фомка-то в мать бы не пошел . . . Глаза у него невеселые . . .

— Рано больно беспокоишься, — усмехался Маякин.

Он тоже любил крестника; и когда однажды Игнат об'явил ему, что возьмет Фому к себе, — Маякин искренно огорчился.

— Оставь! . . — просил он. — Смотри — привык к нам мальчишка-то, плачет вон . . .

— Перестанет! . . Не для тебя я сына родил. У вас тут

дух тяжелый . . . скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне без него, — не радостно. Придешь домой — пусто. Не глядел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него, — не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала — присмотр за ним будет . . .

И мальчика привезли в дом отца.

Там встретила его смешная старуха с длинным крючковатым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но когда он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, — он сразу доверчиво ткнулся головой в ее колени.

— Сиротинка моя болезная! — говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой по лицу. — Ишь прильнул как . . . дитятко мое милое!

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в новый, дотоле неизвестный ему мир. В первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребенком, спросила его:

— Рассказать ли тебе, сказочку?

С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего пред ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, — добрую и милую бабу-ягу, — то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, видел, как тихо он трепещет от огонька лампады, пред образом... Фома наполнял его чудесными картинами сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам и по полу; мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, — в миг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожи-

дания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его итти в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покровах тьмы? Он шел, и не находил ничего, но не терял надежды найти . . .

Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные, длинные руки и сверкающие глаза — все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.

Однажды, когда ему шел уже восьмой год, Фома спросил отца, только-что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то:

— Ты где был?

— По Волге ездил . . .

— Разбойничал? — тихо спросил Фома.

— Что-о? — протянул Игнат, и брови у него дрогнули.

— Ведь ты разбойник, тятя? Я знаю, уж . . . — хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца.

— Я — купец! — строго сказал Игнат, но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил: — А ты — дурашка! . . Я хлебом торгую, пароходами работаю, — видал «Ермака»? Ну вот, это мой пароход . . . И твой . . .

— Больно большой он . . . — со вздохом сказал Фома.

— Ну, я куплю тебе маленький, докуда ты сам маленький, — ладно?

— Ладно! — согласился Фома, но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул: — А я думал, что ты то-о-же разбойник . . .

— Я тебе говорю — торговец я! — внушительно повторил Игнат, и в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое . . .

— Как дедушка Федор, калачник? — подумав, спросил Фома.

— Ну вот, как он . . . только богаче я, денег у меня больше, чем у Федора.

— Много денег?

— Ну . . . и еще больше бывает . . .

— Сколько у тебя бочек?

— Чего?

— Денег-то?

— Дурашка! Разве деньги бочками меряют?

— А как же? — оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему: — Вон в один город приехал разбойник Максимка и у одного, там, богатого, двенадцать бочек деньгами насыпал . . . да разного серебра, да церковь ограбил . . . а одного человека саблей зарубил и с колокольни сбросил . . . он, человек-то, в набат бить начал . . .

— Это тебе тётка, что ли, рассказала? — спросил Игнат, любуясь оживлением сына.

— Она, а — что?

— Ничего! — смеясь, сказал Игнат. — То-то ты и отца в разбойники произвел . . .

— А может ты был, давно, когда? — опять возвратился Фома к своей теме, а по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ.

— Не был я . . . брось это . . .

— Не был?

— Ну, говорю ведь — не был! Экой ты такой . . . Разве хорошо — разбойником быть? Они . . . грешники все, разбойники-то. В Бога не веруют . . . церкви грабят . . . их проклинают, вон, в церквах-то . . . Н-да . . . А вот что, сынок, — учиться тебе надо! Пора, брат, уж . . . Начинай-ка с Богом. Зиму-то проучишься, а по весне я тебя в путину на Волгу с собой возьму . . .

— В училище буду ходить? — робко спросил Фома.

— Сперва дома, с тёткой поучишься . . .

И скоро мальчик с утра садился за стол и, водя пальцем по славянской азбуке, повторял за тёткой:

— Аз . . . буки . . . веди . . .

Когда дошли до — бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давалась Фоме легко, и вот он уже читает первый псалом первый кафизмы псалтиря:

— Бла-жен му-ж . . . иже не иде на . . . со-вет не-че-стивых . . .

— Так, миленький, так! Так, Фомушка, верно! — умиленно вторит ему тётка, восхищенная его успехами . . .

— Молодец Фома! — серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехе сына . . . — Едем весной в Астрахань, а с осени — в училище тебя!

Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тётка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, в жмурки; детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комнате и всетаки натыкалась на стулья и столы, или как она, ища их, лазала по разным укромным уголкам, приговаривая:

— Ах, мошенники . . . Ах, разбойники . . . где это они тут забились?

Солнце ласково и радостно светило ветхому, изношенному телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей, по мере сил и уменья, жизненный путь детям . . .

Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечером он ездил в думу, в гости или еще куданибудь. Иногда он являлся домой пьяный, — сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом — привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый: и ласковее, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью — мальчик всегда просыпался от его трубного голоса:

— Анфиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, — к наследнику — допу-усти!

А тётка уговаривала его укоризненным, плачущим голосом:

— Иди, иди, дрыхни знай, леший ты, окаянный! Ишь назюзился! Седой ведь уж ты . . .

— Анфиса! Сына я могу видеть? Одним глазом? . .

— Чтоб у тебя лопнули оба от пьянства твоего . . .

Фома знал, что тётка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда ж Игнат являлся пьяный днем — его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его:

— Фомка! Чего хочешь! Говори! Гостинцев! Игрушек? Проси, ну! Потому, ты знай — нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня — миллён! И еще больше будет! Понял? Все твое!

И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснея, наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку.

— Анфиса! Ежели он помрет — что я тогда сделаю?

И вслед за этими словами бешенство овладевало им.

— Сожгу все! — ревел он, дико уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. — Истреблю! Порохом взорву!

— Бу-у-дет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворал он, желаешь? — причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтоб Игнат поспешно исчезал, бормоча:

— Ну-ну-ну! Иду, иду . . . Ты только не кричи! Не пугай его . . .

А если Фоме нездоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал.

— Ты что Бога то гневишь? — говорила Анфиса. — Смотри, дойдет роптанье твое до Господа, и накажет Он тебя за жалобы твои на милость Его к тебе . . .

— Эх, сестра! — вздыхал Игнат. — Ты пойми — ведь ежели что — вся жизнь моя рушится! Для чего жил? . . Неизвестно . . .

Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил:

— Тётя! Опять пьяный приехал тятька-то.

Пришла весна — и, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот пред Фомой развернулась новая жизнь.

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги, — левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простерлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее

украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья, солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на средину реки, чтоб покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня:

— О-э — о-о—ещо—о—разок!

Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Брёвна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих рубахах, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идет по реке; желтый тёс, нагруженный на ней, блестит золотом, и тускло отражается в мутной, вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит, — гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные — вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба; стадо пасется невдалеке, — издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело-зелены луга, ласково-ясно голубое небо; в спокойном движении воды чуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега все идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новые картины открываются на них.

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности; все — и природа и люди — живет неуклюже, лениво, — но кажется,

что за ленью притаилась огромная сила, — сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей . . . И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку . . . Заунывные песни точно просят о помощи . . . Порой в них звучит удаль отчаяния . . . Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев . . . Тишина . . .

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

— Тётя Анфиса знает лучше тебя . . .

— Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь.

— Все, — убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие — поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

— Вот завтра приедем в Астрахань . . . — сказал однажды Игнат.

— А она — такая же, как все?

— Ну, известно! . . А то — какая же?

— А за ней что?

— Море . . . Каспийское море называется.

— А что в нем есть?

— Рыба, чудак! Что может в воде быть?

— Город-от Китеж в воде стоит . . .

— То — другое дело! То — Китеж . . . В нем — одни праведники жили.

— А в море праведные города не бывают?

— Не бывают . . . — сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — Вода морская — горькая, пить ее нельзя . . .

— А за морем опять земля будет?

— Известно! Море-то должно же края иметь. Оно, — как чашка . . .

— И опять города там?

— И опять города, — а как же? Только там уж не наша земля будет, а Персидская . . . Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то — шептала, урюк, фисташка?

— Видал, — ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

— Много еще земли-то?

— Земли, брат, — о-очень много!

— А на ней все одинаковое?

— То-есть что?

— Города и все . . .

— Ну, конечно . . . Все одинаково . . .

После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть в даль вопрошающим взглядом черных глаз . . .

Команда парохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания, и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услыхал голос Петровича, машиниста:

— Приказал валить столько дров, — тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет — машину, говорит, портишь часто . . . масло, говорит, зря льешь . . .

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

— А все жадность его непомерная — дешевле здесь топливо, вот он и старается . . . Жаден, дьявол!

— Жаден . . .

Повторенное несколько раз кряду слово запало в память Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

— Тятя!

— Ась?

— Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

— Вот оно что! . . — проговорил он, тряхнув головой. — Ну, ты, не тово, — не слушай их. Они тебе не компания, — ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они — твои слуги, так и знай. Захочем мы с тобой и всех их до одного на берег швырнем, — они дешево стоят, и их везде, как собак нерезаных. Понял? Они про меня много могут худого сказать, — это потому они скажут, что я им — полный господин. Тут все дело в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все завидуют. Счастливый человек — всем людям враг . . .

Дня через два на пароход явились новые и лоцман, и машинист.

— А где Яков? — спросил мальчик.

— Рассчитал я его . . . прогнал!

— За то?

— За то самое . . .

— И Петровича?

— И его.

Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру.

— А лоцман-то новый уж, — об'явил Фома.

— Знаем . . . Доброго здоровьица, Фома Игнатьич! Как спал, почивал?

— И машинист новый . . .

— И машинист . . . Жалко Петровича-то?

— Нет.

— Ну? А он до тебя такой ласковый был . . .

— А зачем он тятю ругал?

— О? Али он ругал?

— Ругал, я ведь слышал . . .

— Мм . . . а отец-то тоже, значит, слышал?

— Нет, это я ему сказал . . .

— Ты . . . Та-ак . . . — протянул матрос и замолчал, принявшись за работу.

— А тятя мне говорит: ты, говорит, здесь хозяин . . . всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь . . .

— Такое дело! . . — сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась раньше: одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, а если и говорили, то сердито и совсем незабавно, как раньше бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, — всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после рассчета Петровича и Якова, он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним, и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там, и стал, с обидой, задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на палубе, игриво плескалась вода, и матросы весело смеялись . . . Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда.

— «Держись от них подальше, — вспомнил он слова отца: — ты им хозяин» . . .

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам — что-нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он долго придумывал — что бы? И не придумал ничего . . . Прошло еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и все чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой затемненный ими образ ласковой тётки Анфисы с ее сказками, улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он все еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел на все вокруг него. Случай с лоцманом и машинистом направил внимание мальчика на окружающее; глаза Фомы стали зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу

зазвучало стремление понять, — какие нити и пружины управляют действиями людей?

Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито говорил:

— Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос — ну, стало быть, дело твое ясное! А чтобы еще и дрова . . . спасибо! Это значит — драть с меня ту шкуру, которой я не продал . . . Это уж без совести! Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать.

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликался на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки.

— Будет! — хмуро говорил он: — чай, не на лошадь грузишь.

— А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся . . . И ежели кровь из тебя будут сосать — тоже молчи, — что ты можешь сказать?

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и, став против него, сурово спросил:

— Про что говоришь?

— Говорю, стало быть, как умею . . . — запинаясь, ответил Ефим. — Уговора, мол, не было . . . чтобы молчать мне . . .

— А кто это кровь сосать будет? — поглаживая бороду, спросил Игнат.

Матрос, поняв, что попался, и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал:

— А разве не правда моя? Не сосешь ты . . .

— Я?

— Ты.

Фома видел, как отец взмахнул рукой, — раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать . . . На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда

он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их . . .

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

— Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец.

— Так . . .

— Нездоровится, может?

— Нету . . .

— То-то . . . Ты, коли что, скажи . . .

— Сильный ты! . . — вдруг задумчиво проговорил мальчик.

— Я-то? Ничего . . . Бог не обидел и силой.

— Ка-ак ты его давеча тряснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

— Это — Ефимку что ли?

— Да . . . до крови! . . Как шел он потом, так плакал . . . — вполголоса рассказывал мальчик.

— Мм . . . — промычал Игнат, пережевывая кусок. — Жалеешь ты его?

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома.

— Н-да . . . Вишь ты что! . . — сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно:

— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало . . . Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здоровый и — не глуп. А рассуждать, — не его дело: рассуждать я могу, потому что я — хозяин. Это не просто, хозяином-то быть . . . От зуботычины он не помрет, а умнее будет . . . Так-то . . . Эх, Фома! Младенец ты . . . ничего не понимаешь . . . надо учить тебя жить-то. . . Может, уж немного осталось веку моего на земле . . .

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал:

— Жалеть людей надо . . . это ты хорошо делаешь! Только — нужно с разумом жалеть . . . Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь — сильный, способный к делу человек — по-

жалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который человек много жалуется на все, да охает, да стонет — грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь . . . Только пуще киснут да балуются такие от жалости к ним . . . Живучи у крестного, насмотрелся ты там на разную шушеру: странники эти, приживальщики, несчастненькие . . . и разные гады . . . Об них забудь . . . это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны . . . Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть . . . И не для Бога они живут — нету у них никакого Бога, имя же Его всуе призывают, чтобы дураков разжалобить, да от их жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего живут они, и кроме как — пить, жрать, спать, да стонать — ничего не умеют делать . . . От них — один развал души. Только запинаешься за них. И хороший человек среди них — как свежее яблоко среди гнилых — испортиться может . . . Мал ты, вот что, — не можешь ты понимать моих слов . . . Ты тому помогай, который в беде стоек . . . он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да помоги ему без его спроса . . . Да, который гордый и может обидеться на помощь твою — ты виду ему не подавай, что помогаешь . . . Вот как надо, по разуму-то! Тут, — такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать . . . А здоровую — подними и поставь на солнце, она — не тебе, так другому — на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни . . . А Ефимку жалеть не за что, — он парень дельный, цену себе понимает . . . Из него плюхой душу не вышибешь . . . Вот я посмотрю недельку время, да к штурвалу его поставлю . . . А там, гляди, лоцманом будет . . . И ежели капитаном его сделать — ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут . . . Я, брат, сам эту науку проходил, — тоже немало плюх с'ел в его-то годы . . . Нам, сынок, всем жизнь-то — не мать родная, — наша строгая хозяйка она . . .

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости; о том, как они

любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить на счет других, и снова о себе, — о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела.

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тётки Анфисы, но зато было в них что-то новое — более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал дыша ускоренно.

— Сынишка! . . — глухо шептал Игнат. — Милый ты мой . . . радость ты моя! . . Учись, пока я жив . . . э-эх, трудно жить!

Дрогнуло сердце ребенка от этого шопота, он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз . . .

Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами, и все на реке было зловеще спокойно, — приплыли в Казань и встали около Услона в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому; он посмотрел в окно и увидал: далеко, во тьме, сверкали маленькие огоньки: вода была черна и густа, как масло — и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывная, как причитание; на караване перекликались сторожа, сердито шипел пароход, разводя пары . . . Черная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всматриваясь во тьму пристально, до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними . . . Он знал, что это были баржи, но знание не успокоивало его, сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы.

— О-о . . . о . . .! — донесся издали протяжный крик и закончился похоже на рыдание . . . Вот кто-то прошел по палубе к борту парохода . . .

— О-о-о . . . — раздалось опять, но уже где-то ближе . . .

— Яфим! — вполголоса заговорили на палубе. — Чорт! Вставай! Бери багор . . .

— О-о-о! . . — застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откачнулся от окна.

Странный звук подплывал все ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе тревожно шептали:

— Яфимка! Да, встань — гость плывет!

— Де? — раздался торопливый вопрос . . . По палубе зашлепали босые ноги, послышалась возня, мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду . . .

— Го-о-о-сть! зарыдали где-то близко, и раздался тихий, странный плеск воды.

Мальчик дрожал от ужаса пред этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаза от воды.

— Зажги фонарь . . . не видать ничего! . .

И вот на воду упало пятно мутного света . . . Фома видел, что вода тихо колышется, рябь идет по ней точно ей больно, и она вздрагивает от боли.

— Гляди . . . гляди! . . — испуганно зашептали на палубе.

В то же время в пятне света на воде явилось большое, страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому и точно оно, улыбаясь, говорило:

— Эх, мальчик, мальчик . . . хо-олодно! . .

Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду.

— Пихай его . . . веди! . . Смотри — подобьет в колесо . . .

Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму . . . И вот там вновь раздался стонущий заупокойно возглас:

— Го-о-ость . . .

— Тятя! — закричал Фома. — Тя-ятя . . .

Отец вскочил на ноги и бросился к нему.

— Что там? Что они делают? — кричал Фома.

Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовской постели.

— Испугали тебя — ну, ничего! — говорил Игнат, взяв его на руки. — Ложись-ка со мной. . .

— Что это? — тихо спрашивал Фома.

— Это, сынок, ничего. . . Это — утопший. . . Утонул человек и плывет. . . Ничего! Ты не бойся, он уже уплыл. . .

— Зачем они толкали его? — допрашивал мальчик, крепко прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха. . .

— А — так уж надо. . . Подобьет его вода в колесо . . . нам к примеру . . . завтра увидит полиция . . . возня пойдет допросы . . . задержат нас. Вот его и провожают дальше. . . Ему что? Он уж мертвый . . . ему это не больно, не обидно . . . а живым из-за него беспокойство было бы. . . Спи, сынок! . .

— Так он и поплывет?

— Так и поплывет. . . Где-нибудь вынут — схоронят. . .

— А рыба его с'ест?

— Рыба не ест человечье тело. . . Раки едят. . .

Страх Фомы таял, но пред глазами его все еще покачивалось на черной воде страшное лицо с оскаленными зубами.

— А он кто?

— Бог его знает! Ты скажи о нем Богу: Господи, мол, упокой душу его!

— Господи, упокой душу его! — шопотом повторил Фома.

— Ну, вот. . . И спи, не бойся! . . Он уж теперь далеко-о! Плывет себе. . . Вот — не подходи неосторожно к борту-то — упадешь этак — спаси Бог! — в воду и . . .

— А он тоже упал?

— Известно, упал. . . Может, пьян был. . . А, может, сам бросился. . . Есть и такие которые сами. . . Возьмет да и бросится в воду . . . утонет. . . Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека — праздник, а иная — для всех благодать!

— Тятя. . .

— Спи, родной. . .

В первый же день школьной жизни, Фома, ошеломленный живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных, детских игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показались ему интереснее других. Один сидел впереди его. Фома, поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный затылок, покрытый ярко-рыжими волосами.

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней губой, позвал: «Смолин, Африкан!» — рыжий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать мелом на доске большие круглые цифры.

— Хорошо, — довольно! — сказал учитель. — Ежов, Николай, — продолжай!

Один из соседей Фомы по парте, — непоседливый, маленький мальчик с черными, мышиными глазками, — вскочил с места и пошел между парт, за все задевая, вертя головой во все стороны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набрасывая на нее мелкие, неясные знаки.

— Ти-ше, — сказал учитель, болезненно сморщив желтое лицо с усталыми глазами. А Ежов звонко и быстро говорил . . .

— Теперь мы узнали, что первый разносчик получил барыша 17 копеек . . .

— Довольно! . . Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько барыша получил второй разносчик?

Наблюдая за поведением мальчиков, — так не похожих друг на друга, — Фома был захвачен вопросом врасплох и — молчал.

— Не знаешь? . . Об'ясни ему, Смолин . . .

Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачканные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое место.

— Эх ты! — зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж кстати толкая его кулаком в бок. — Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? 30 копеек . . . а разносчиков — двое . . . один получил 17 — ну, сколько другой?

— Знаю я, — шопотом ответил Фома, чувствуя себя сконфуженным и рассматривая лицо Смолина, степенно возвращавшегося на свое место. Ему не понравилось это лицо — круглое, пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшим жиром. А Ежов больно щипал ему ногу и спрашивал:

— Ты чей сын — Шалого?

— Да . . .

— Ишь . . . Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду?

— Хочу . . .

— А что дашь за это?

Фома подумал и спросил:

— А ты знаешь сам-то?

— Я? Я — первый ученик . . .

— Вы, там! Ежов — опять ты разговариваешь? — крикнул учитель.

Ежов вскочил на ноги и бойко сказал:

— Это не я, Иван Андреич, — это Гордеев! . .

— Оба они шепчутся, — невозмутимо об'явил Смолин.

Жалобно сморщив лицо и смешно шлепая своей большой губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал Ежову тотчас же снова зашептать:

— Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду . . .

— А ты зачем сваливаешь на новенького? — не поворачивая к ним головы, — тихо спрашивал Смолин.

— Ладно, ладно! — шипел Ежов.

Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который одновременно и нравился ему, и возбуждал в нем желание отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал от Ежова, что Смолин — тоже богатый, сын кожевенного заводчика, а сам Ежов — сын сторожа из казенной палаты, бедняк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому из серой бумазеи, украшенному заплатами на коленях и локтях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим альтом, поясняя свою речь гримасами и жестами, и часто употреблял в речи свои слова, значение которых было известно только ему одному.

— Мы с тобой будем товарищи, — об'явил он Фоме.

— А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? — напомнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него.

— Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый, — с богатых учитель-то не взыскивает . . . А я — бедный об'едон, меня он не любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносил ему . . . Кабы я плохо учился — он бы давно уж выключил меня. Ты знаешь — я отсюда в гимназию уйду . . . Кончу второй класс и уйду . . . Меня уж тут один студент приготовляет. Там я так буду учиться — только держись! А у вас лошадей сколько?

— Три . . . Зачем тебе много учиться? — спросил Фома.

— Потому что — я бедный . . . Бедным нужно много учиться, от этого они тоже богатыми станут, — в доктора пойдут, в чиновники, в офицеры . . . Я тоже буду звякарем . . . сабля на боку, шпоры на ногах — дрынь, дрынь! А ты чем будешь?

— Н-не-знаю! . . — задумчиво сказал Фома, разглядывая товарища.

— Тебе ничем не надо быть . . . А голубей ты любишь?

— Люблю . . .

— Какой ты фуфлыга! У-у! О-о — передразнивал Ежов медленную речь Фомы. — Сколько у тебя голубей?

— У меня нет . . .

— Эх ты! Богатый, а не завел голубей . . . У меня и то три есть, — скобарь один, да голубка пегая, да турман . . . Кабы у меня отец был богатый — я бы сто голубей завел и все бы гонял целый день. И у Смолина есть голуби — хорошие! Четырнадцать, — турмана-то он мне подарил. Только — все-таки он жадный . . . Все богатые — жадные! А ты — тоже — жадный?

— Н . . . не знаю, — нерешительно сказал Фома.

— Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять . . .

— Ладно . . . ежели меня пустят . . .

— Разве отец-то не любит тебя?

— Любит.

— Ну, так пустит . . . Только ты не говори, что и я тоже пойду, — со мной, пожалуй, и взаправду не пустит . . . Ты скажи — к Смолину, мол, пустите . . . Смолин!

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, укоризненно покачивая головой:

— Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружиться, — булыжник!

— Что ты ругаешься? — спокойно спросил Смолин, разглядывая Фому неподвижными глазами.

— Я не ругаюсь, а правду говорю, — пояснил Ежов, весь подергиваясь от оживления. — Слушай! Хотя ты и кисель, да — ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе . . .

— Приходите, — кивнул головой Смолин.

— Придем . . . Скоро уж звонок, побегу чижа продавать, —

об'явил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора училища, как ртуть с ладони.

— Ка-акой он! — сказал Фома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.

— Ловкий, — пояснил рыжий мальчик.

— И веселый, — добавил Фома.

— И веселый, — согласился Смолин. Потом они помолчали, оглядывая друг друга.

— Придешь ко мне с ним? — спросил рыжий.

— Приду . . .

— Приходи . . . У меня хорошо . . .

Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его:

— У тебя много товарищей?

— Никого нет . . .

— У меня тоже, до училища, никого не было . . . только братья двоюродные . . . Вот теперь у тебя будут сразу двое товарищей . . .

— Да, — сказал Фома.

— Когда есть много товарищей — это весело . . . И учиться легче — подсказывают . . .

— А ты хорошо учишься?

— Я — все хорошо делаю, — спокойно сказал Смолин.

Задребезжал звонок, точно испуганный и торопливо побежавший куда-то . . .

Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он нашел, что оба они — самые лучшие в школе и первыми бросаются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не стертые с черной, классной доски. И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи лучше всех остальных мальчиков.

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул в какой-то узкий переулок, Смолин же шел с Фомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказал:

— Вот видишь — и ходить нам вместе!

Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тётка — — шарф своего вязанья. Его ждали обедать, приготовили

любимые им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол и стали расспрашивать:

— Ну что, понравилось в училище? — спрашивал Игнат, с любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.

— Ничего . . . Славно! — отвечал Фома.

— Милый ты мой! — умиленно вздыхала тётка. — Ты, смотри, товарищам-то не поддавайся . . . Чуть они чем обидят тебя, ты сейчас учителю и скажи про них . . .

— Ну, слушай ее! — усмехнулся Игнат. — Этого не делай никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей рукой накажи! Ребятишки-то хорошие?

— Да, — Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. — Один такой бойкий — беда!

— Чей таков?

— Сторожа сын . . .

— Боек, говоришь?

— Страсть!

— Ну — Бог с ним! А другой?

— А другой — ры-ижий весь . . . Смолин . . .

— А! Митрия Иваныча сын, видно . . . Этого держись, компания хорошая . . . Митрий — умный мужик . . . коли сын в него — это ладно! Вот другой-то . . . Ты, Фома, вот что: ты пригласи-ка их в воскресенье в гости к себе. Я куплю гостинцев, угощать ты их будешь . . . Поглядим, какие они . . .

— В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, — об'явил Фома, вопросительно взглянув на отца.

— Ишь ты . . . Ну, поди! Это ничего, поди . . . Присматривайся, какие есть люди на земле . . . Один, без дружбы не проживешь . . . Вот я с твоим крестным двадцать лет слишком дружу — многим от ума его попользовался. Так и ты, — старайся дружить с теми, которые лучше, умнее тебя . . . Около хорошего человека потрешься — как медная копейка о серебро, — и сам за двугривенный сойдешь . . .

И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил:

— Это — шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть . . . Ум имей хоть маленький, да свой . . . Что, уроков-то много задали тебе?

— Много! — вздохнул мальчик, и вздоху его, откликнулась тяжелым вздохом тётка . . .

— Ну — учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе вот что: в училище, — хоть двадцать пять классов в нем будь, — ничему, кроме как писать, читать да считать — не научат. Глупостям разным можно еще научиться, — но не дай тебе Бог! Запорю, ежели что . . . Табак курить будешь, губы отрежу . . .

— Бога помни, Фомушка, — сказала тётка. — Господа нашего, смотри, не забудь . . .

— Это верно Бога и родиделя — чти! Но я про то хочу сказать, что книги-то учебные — дело еще малое . . . Нужны они тебе, как плотнику топор да рубанок; они — инструмент, а тому, как в дело их употребить — инструмент не научит. Понял? . . Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обтесать бревно . . . Рук да топора тут мало, надо еще уметь ударить по дереву, а не по ноге себе . . . Выходит, что одних книг мало: надо еще уменье пользоваться ими . . . Вот это уменье и есть то самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего не написано . . . Этому, Фома, надо учиться от самой от жизни. Книга — она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай — она не закричит . . . А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял — тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет.

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, под сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, обтесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протянутыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к чему-то огромному и живому и желает схватить это страшное что-то . . .

— Человек должен себя беречь для своего дела и путь к своему делу твердо знать . . . Человек, брат, тот же лоцман на судне . . . В молодости, как в половодье, — иди прямо! Везде тебе дорога . . . Но — знай время, когда и за правеж взяться надо . . . Вода сбыла, — там, гляди, мель, там карча, там камень; все это надо усчитать и во-время обойти, чтобы к пристани доплыть целому . . .

— Я доплыву! — сказал мальчик, уверенно и гордо глядя на отца.

— Ну? Храбро говоришь! — Игнат засмеялся. И тётка тоже ласково засмеялась.

Со времени поездки с отцом по Волге, Фома стал более бойким и разговорчивым с отцом, тёткой, Маякиным. Но на улице, или где-нибудь в новом для него месте при чужих людях, он хмурился и посматривал вокруг себя подозрительно и недоверчиво, точно всюду чувствовал что-то враждебное ему, скрытое от него и подстерегающее.

Ночами иногда он вдруг просыпался и подолгу прислушивался к тишине вокруг, пристально рассматривая тьму широко раскрытыми глазами. Пред ним претворялись в образы и картины рассказы отца. Он незаметно для себя путал их со сказками тётки и создавал хаос событий, в котором яркие краски фантазии причудливо переплетались с суровыми тонами действительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчик закрывал глаза, гнал от себя все это и хотел бы остановить игру воображения, пугавшую его. Но он безуспешно пытался уснуть, а комната все теснее наполнялась темными образами. Тогда он тихо будил тётку:

— Тётя . . . А тётя . . .

— Что? Христос с тобой . . .

— Я приду к тебе, — шептал Фома.

— Пошто? Спи-ка, милушка моя . . . спи . . .

— Я боюсь! . . — сознавался мальчик.

— А ты прочитай про-себя «да воскреснет Бог», и перестанешь бояться-то.

Фома лежит с закрытыми глазами и читает молитву. Тишина ночи рисуется пред ним в виде бескрайнего пространства темной воды, она совершенно неподвижна, — разлилась всюду и застыла, нет ни ряби на ней, ни тени движения и в ней тоже нет ничего, хотя она бездонно глубока. Очень страшно смотреть одному откуда-то сверху, из тьмы, на эту мертвую воду . . . Но вот раздается звук колотушки ночного сторожа, и мальчик видит, что поверхность воды вздрагивает, по ней, покрывая ее рябью, скачут круглые, светлые шарики . . . Удар в колокол на колокольне заставляет всю воду всколыхнуться одним могучим движением, и она долго плавно колышется от этого удара, колышется и большое светлое пятно, освещает ее, расширяется от ее центра куда-то в темную даль и бледнеет, тает . . . Снова тоскливый и мертвый покой в этой темной пустыне . . .

— Тётя . . . — умоляюще шепчет Фома.

— Асиньки?

— Я к тебе приду . . .

— Да иди, иди, роднуша моя . . .

Перебравшись на постель к тётке, он жмется к ней и просит:

— Расскажи что-нибудь . . .

— Ночью-то? — сонно протестует тётка.

— Пожа-алуйста . . .

Ее не приходится долго просить. Позевывая, осипшим от сна голосом, старуха, закрыв глаза, размеренно говорит:

— И вот, сударь ты мой, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж да жена и были они бедные-пребедные! . . Уж такие-то разнесчастные, что и есть-то им было нечего. Походят, это, они по миру, дадут им где черствую, завалящую корочку, — тем они день и сыты. И вот родилось у них дите . . . родилось дите — крестить надо, а как они бедные, угостить им кумов да гостей нечем, — не идет к ним никто крестить! Они и так, они и сяк, — нет никого! . . И взмолились они тогда ко Господу. — Господи! Господи! . .

Фома знает эту страшную сказку о крестнике Бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует пред собой этого крестника: вот он едет на белом коне к своему крестному отцу и матери, едет во тьме, по пустыне и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники . . . И слышит он тихие стоны и просьбы их:

— О-о-о! Человече! спроси у Господа, долго ли еще мучиться нам?

Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи на белом коне, к нему обращены стоны и моления. Сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели . . .

— Спи, дитятко мое, Христос с тобой! — говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людей.

Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный сдобными и сладкими пирожками, — их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища.

— Припер пожрать? — встречал он Фому, поводя своим острым носом. — Давай, а то я ушел из дому без ничего . . . Проспал, чорт е дери, — до двух часов ночи все учился . . . Ты задачи сделал?

— Не сделал.

— Эх ты, карамара! Ну, я их тебе сейчас раскатаю!

Впиваясь в пирог мелкими, острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы:

— Видал? В час вытекло восемь ведер . . . а сколько часов текло — шесть? Эх, сладко вы едите! . . Шесть, стало быть, надо помножить на восемь . . . А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как! Ну вот, из первого крана в шесть часов вытекло сорок восемь . . . а всего налили в кран девяносто . . . дальше-то понимаешь?

Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живости маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это, и в то же время жалел его, снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным, рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им:

— Эх вы, чемоданчики с пирожками! . .

Фома сердился на него за насмешки и однажды, задетый за сердце, презрительно и зло сказал:

— А ты — попрошайка, — нищий!

Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил:

— Ладно, пускай! . . А вот я не буду подсказывать тебе — и станешь ты бревном!

Дня три они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева.

Ежов знал все: он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе; он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни и клетки для птиц; подробно сообщал, отчего и как повесился солдат в казарме, на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня подарок и какой именно подарок.

Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом

купеческим, рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Все это он знал подробно, говорил об этом с увлечением.

К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме:

— Зачем ты ругаешься с Ежовым?

— А что он больно зазнается? — сердито ответил Фома.

— То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе . . . Он — умный . . . А что бедный — так — разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат . . .

— Комар он какой-то, — пренебрежительно сказал Фома, — пищит, пищит, да вдруг и укусит!

Но в жизни мальчиков было нечто об'единявшее всех их, были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, взлезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, — выпускали голубей.

Красивые сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками.

— Шугай! — просил Ежов, вздрагивая от нетерпения.

Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с мочалом на конце и свистал.

Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его торопливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх, в голубую глубину неба, плывут, сверкая серебром и снегом оперения, все выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими, другие — играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова, стрелою, летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, все уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любуются птицами, не отрывая глаз от них, — усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым

существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву неба, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит:

— Нам бы, братцы, так полетать . . .

Об'единенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц — мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко, — как их голуби от земли, — ушли от веяния жизни; в этот час они просто — дети, не могут ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близки друг к другу, без слов, по блеску глаз, понимают свое чувство и — хорошо им, как птицам в небе.

Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню.

— Братцы! Ай-да за яблоками?! — предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и похождений.

Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение, и вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку, крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд и труд опасный, все же заработанное трудом — так сладко! . . И тем слаще, чем большим количеством усилий взято . . . Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймают, и того, что, заметив, — узнают, кто они; но если их только заметят и закричат на них — они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе, с горящими восторгом и удалью глазами, они со смехом будут рассказывать друг-другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами.

В подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал сердца больше, чем во все другие похождения и игры, — и вел он себя в набегах с храбростью, которая поражала, и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно-неосто-

рожно: говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступления не пугала, а лишь возбуждала его — глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот:

— Очень уж ты форсишь . . .

— Я не трус! — отвечал Фома.

— Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки . . . Можно и без форсу не хуже дело делать . . .

Ежов осуждал его с иной точки зрения:

— Если ты будешь сам в руки соваться — поди к чорту! Я тебе не товарищ . . . Тебя поймают да к отцу отведут — он тебе ничего не сделает, а меня, брат, так ремнем отхлещут — все мои косточки облупятся . . .

— Трус! — упрямо твердил Фома.

И вот однажды Фома был пойман руками штабс-капитана Чумакова, маленького и худенького старика. Неслышно подкравшись к мальчику, укладывавшему сорванные яблоки за пазуху рубахи, старик вцепился ему в плечи и грозно закричал:

— Попался, разбойник! Ага-а!

Фоме в то время было около пятнадцати лет, он ловко вывернулся из рук старика. Но не побежал от него, а, нахмурив брови и сжав кулаки, с угрозой произнес:

— Попробуй . . . тронь! . .

— Я тебя не трону — я тебя в полицию сведу! Ты чей?

Этого Фома не ожидал, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествие в полицию показалось чем-то таким, чего отец никогда не простит ему. Он вздрогнул и смущенно об'явил:

— Гордеев . . .

— И . . . Игната Матвеича? . .

— Да . . .

Теперь смутился штабс-капитан. Он выпрямился, выпятил грудь вперед и зачем-то внушительно крякнул. Потом плечи его опустились, и отечески-вразумительно он сказал мальчику:

— Стыдно-с! Наследник такого именитого и уважаемого лица . . . Недостойно-с вашего положения . . . Можете итти . . Но если еще раз повторится происшедшее . . . принужден буду

сообщить вашему батюшке . . . которому, между прочим, имею честь свидетельствовать мое почтение! . .

Фома, наблюдая за игрой физиономии старика, понял, что он боится отца. Исподлобья, как волченок, он смотрел на Чумакова; а тот, со смешной важностью крутил седые усы и переминался с ноги на ногу перед мальчиком, который не уходил, несмотря на данное ему разрешение.

— Можете итти, — повторил старик и указал рукой дорогу к своему дому.

— А в полицию? — угрюмо спросил Фома и тотчас же испугался возможного ответа.

— Это я — пошутил! — улыбнулся старик. — Напугать вас хотел . . .

— Вы сами боитесь моего отца . . . — сказал Фома и, повернувшись спиной к старику, пошел в глубь сада.

— Боюсь? А-а! Хорошо-с! — крикнул Чумаков вслед ему, и по звуку голоса Фома понял, что обидел старика. Ему стало стыдно и грустно; до вечера он прогулял один, а придя домой, был встречен суровым вопросом отца:

— Фомка! Ты к Чумакову в сад лазил?

— Лазил, — спокойно сказал мальчик, глядя в глаза отцу.

Игнат, должно быть, не ждал такого ответа и несколько секунд молчал, поглаживая бороду.

— Дурак! Зачем ты это? Мало что ли тебе своих яблоков?

Фома опустил глаза и молчал, стоя против отца.

— Вишь — стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этот подбил? Я вот его проберу, когда придет . . . а то и совсем прекращу дружбу-то вашу . . .

— Это я сам, — твердо сказал Фома.

— Час-от-часу не легче! — воскликнул Игнат. — Да зачем тебе?

— Так . . .

— Квак! — передразнил отец. — А ты уж, коли что делаешь, так умей об'яснить это и себе, и людям . . . Подь сюда!

Фома подошел к отцу, сидевшему на стуле, и стал между колен у него, а Игнат положил ему руки на плечи и, усмехаясь, заглянул в его глаза.

— Стыдно? . .

— Стыдно! . . — вздохнув сказал Фома.

— Вот то-то, дурень! Позоришь и себя, и меня . . .

Прижав к груди своей голову сына, он погладил его волосы и снова спросил:

— На что это нужно — яблоки чужие воровать?

— Да — я не знаю! — сказал Фома смущенно. — Играешь, играешь . . . все одно и то же . . . надоест! . . А это . . .

— За сердце берет? — спросил отец, усмехаясь.

— Берет . . .

— Мм . . . пожалуй, так! . . Но, однако, ты, Фома — брось это! Не то я с тобой круто обойдусь . . .

— Никогда я больше никуда не полезу, — уверенно сказал мальчик.

— А что ты сам за себя отвечаешь — это хорошо. Там Господь знает, что выйдет из тебя, а пока . . . ничего! Дело не малое, ежели человек за свои поступки сам платить хочет, своей шкурой . . . Другой бы, на твоем месте, сослался на товарищей, а ты говоришь — я сам . . . Так и надо, Фома! . . Ты в грехе, ты и в ответе . . . Что, — Чумаков-то . . . не того . . . не ударил тебя? — с расстановкой спросил Игнат сына.

— Я бы ему ударил! — спокойно об'явил Фома.

— Мм . . . — промычал его отец.

— Я сказал ему, что он тебя боится . . . вот он почему пожаловался . . . А то он не хотел итти-то к тебе . . .

— Ну?

— Ей Богу! Почтение, говорит, отцу передайте . . .

— Это он?

— Да . . .

— Ах . . . пёс! Вот, гляди, каковы есть люди: его грабят, а он кланяется — мое вам почтение! Положим, взяли-то у него, может, на копейку, да ведь эта копейка ему — как мне рубль . . . И не в копейке дело, а в том, что моя она, и никто не смей ее тронуть, ежели я сам не брошу . . . Эх! Ну их! Ну-ка говори — где был, что видел?

Мальчик сел рядом с отцом и подробно рассказал ему впечатления дня. Игнат слушал, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человека задумчиво сдвигались.

— А в овраге спугнули мы сову, — рассказывал мальчик. —

Вот потеха-то была! Полетела это она, да с разлету о дерево — трах! даже запищала, жалобно таково . . . А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и все так же — полетит, полетит, да на что-нибудь и наткнется ,— так с нее перья и сыплются! . . Уж она трепалась, трепалась по оврагу-то . . . насилу где-то спряталась . . . мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся . . . Она, тятя, совсем слепая днем-то?

— Слепая, — сказал Игнат. — Иной человек вот так же, как сова днем, мечется в жизни . . . Ищет, ищет своего места, бьется, бьется, — только перья летят от него, а все толку нет . . . Изобьется, изболеет, облиняет весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть от маяты своей . . . Эх, беда таким людям — беда, брат!

— А отчего они так?

— Отчего? . . Трудно это сказать . . . Иной — оттого, что отемнён своей гордыней, — хочет многого, а силенку имеет слабую . . . иной — от глупости своей . . . да мало ли отчего?

Так, день за днем, медленно развертывалась жизнь Фомы — в общем, — не богатая волнениями, мирная, тихая жизнь. Сильные впечатления, возбуждая на час душу мальчика, иногда очень резко выступали на общем фоне этой однообразной жизни, но скоро изглаживались. Еще тихим озером была душа мальчика, — озером, скрытым от бурных веяний жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало на дно, не надолго взволновав сонную воду, или, скользнув по глади ее, расплывалось широкими кругами, исчезало.

Просидев в уездном училище пять лет, Фома, с грехом пополам, окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие, темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его — зрачки расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое, решительное . . . Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

— Для баб ты, Фома, слаще меда будешь . . . но, пока, большого разума в тебе не видать . . .

Игнат вздыхал при этих словах.

— Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то . . .

— А вот, погоди . . .

— Чего годить? Лета два, три повертится на Волге да и под венец его . . . Вон Любовь-то какая у меня . . .

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона. Фома часто встречал ее на улице, при чем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щёки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любови, они читали какие-то книжки, и если он заставал их за чтением или крикливым спором — они умолкали при виде его. Все это отталкивало его. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

— Почему ты такой бука, — никогда, ни о чем не говоришь?

— О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказал Фома.

— Учись, — читай книги! . .

— Не хочется . . .

— А вот гимназисты — все знают и обо всем умеют говорить... Ежов, например . . .

— Знаю я Ежова, — болтушка! . .

— Просто ты завидуешь ему . . . Он очень умный . . . да. Вот он кончит гимназию — поедет в Москву учиться в университет.

— Ну, так что?

— А ты так и останешься неучем . . .

— Ну, и пускай . . .

— Как это хорошо! — иронически воскликнула Люба.

— Я и без науки на своем месте буду, — насмешливо сказал Фома . . . — И всякому ученому нос утру . . . пусть голодные учатся, мне не надо . . .

— Фи, какой ты глупый, злой, — гадкий! — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо

и обиженно посмотрел вслед ей, повел бровями и, опустив голову, медленно направился в глубь сада.

Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, — в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен, — они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его, — он вставал и, расправляя плечи, полной грудью пил душистый воздух, но иногда те же видения навевали на него грустное чувство — ему хотелось плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

— Расцветает наш репей алым маком! . . — усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, — было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

— Не пойму я его! — сокрушенно говорил Игнат. — Не кутит он, по бабам, будто, не шляется, ко мне, к тебе — почтителен, всему внимает — красная девка, не парень! И ведь, кажись, не глуп?

— Особой глупости не видать, — говорил Маякин.

— Поди ж ты! Как будто он ждет чего-то, — как пелена какая-то на глазах у него . . . Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше — а поди-ка ты какой! Даже понять трудно, кто кому

теперь у них голова — он отцу, или отец ему? Учиться хочет ехать, на фабрику какую-то — ругается: эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили . . . Н-да! А мой — ничего из себя не об'являет . . . О, Господи!

— Ты вот что, — советовал Маякин, — ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют . . . Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его, на Каму-то; одного!

— Разве, что попробовать?

— Ну, напортит . . . потеряешь сколько-нибудь . . . зато будем знать, что он в себе носит?

— И впрямь — отправлю-ка я его, — решил Игнат.

И вот весной Игнат отправил сына с двумя баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход «Прилежный», которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим, — теперь Ефим Ильич; тридцатилетний, квадратный человек с рысьими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан.

Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью; а хорошее настроение двух главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом, в апреле, — в первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал его груз железа, принятый Игнатом к доставке на ярмарку.

Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии, рано утром на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных; с криком, с песнями они рассыпались по палубам и — вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки, мужики, вскидывая мешки на плечи, бегом бегали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженные долго жданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изо-

бражая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходень, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами . . .

Только-что взошло солнце, воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны; спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судов и цепи якорей. Веселый, громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца, — все было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые, смутные ощущения и желания. Он сидел за столом на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близоруким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне, но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки — высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо.

«Надо будет с'ездить туда», думал Фома. А до слуха его как будто откуда-то издали доносился беспокойный, неприятно резкий голос приемщика:

— Вы не поверите — дошло наконец до ужаса. Был такой случай: в Осе, к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу, лет шестнадцати . . . — Что тебе? — «Да, вот, говорит, привел дочь вашему благородию» . . . Зачем? — Да может, говорит, возьмете . . . человек вы холостой» . . . — Как так? что такое? — «Да водил, говорит, водил ее по городу, в прислуги хотел отдать — не берет никто . . . возьмите хоть в любовницы!» Понимаете? Он предлагает дочь свою, поймите! дочь — в любовницы! Чорт знает, что такое?! а? Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается . . . Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие! что она мне, по нынешним дням? Лишняя совсем . . . а у меня, говорит, трое мальчишек — они работники будут, их надо сохранить . . . дайте, говорит, десять рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками» . . . Каково, а? Просто ужас, говорю вам . . .

— Не хо-ро-шо! — вздохнул Ефим. — Так что, голод — сказано — не тетка . . . У брюха, видите, свои законы . . .

А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему

огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки, и юноша быстро спросил у приемщика:

— Что же он, барин-то этот, купил ее?

— Разумеется, нет! — укоризненно воскликнул приемщик.

— Ну, и куда же ее девали?

— Нашлись добрые люди . . . пристроили . . .

— А-а! — протянул Фома, и вдруг твердо и зло об'явил: — Я бы этого мужика так вздул! Всю бы рожу ему разворотил! — и он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак.

— За что? — болезненно-громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.

— Разве это можно, человека продавать? . .

— Дико это, я согласен, но . . .

— Да еще — девушку! Я б ему дал десять рублей!

Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал. Его жест смутил Фому, он поднялся из-за стола и, отойдя к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шум опьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтоб все удивились ему . . .

— Шевелись — живее! — звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему, мелькнули пред ним какие-то лица, и одно из них, — лицо женщины с черными глазами, — ласково и заманчиво улыбнулось ему. От этой улыбки у него на груди что-то вспыхнуло и горячей волной полилось по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят.

— Слушайте! — обратился к нему приемщик. — Телеграфируйте вы вашему отцу, — пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится, — а ведь тут каждый фунт дорог! Надо же это понимать! . . Ну уж папаша у вас . . . — кончил он с едкой гримасой.

— Сколько сбросить? — пренебрежительно и с удалью спросил Фома . . . — Желаете сто пуд? Двести?

— Это, — благодарю вас! — смущенно и радостно вскричал приемщик . . . Если вы имеете право . . .

— Я — хозяин! — твердо сказал Фома . . . — А про отца вы не можете так говорить, — и корчить рожи! . .

— Извините! И . . . я не сомневаюсь в ваших полномочиях... искренно благодарю вас . . . и вашего папашу от лица всех этих людей . . .

Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.

— Двести! Это — по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и об'явлю мужичкам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны . . .

И он громко крикнул вниз:

— Ребята! Вот хозяин жертвует двести пудов . . .

— Триста! — перебил его Фома.

— Триста пудов . . . Спасибо! Триста пудов зерна, ребята!

Но эффект получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили:

— Спасибо . . . Дай тебе Господи . . . Покорнейше благодарим . . .

А кто-то весело и пренебрежительно крикнул:

— Это что! А вот ежели бы водченки по стакашку . . . была бы милость, — правильная! А хлеб не нам — он земству . . .

— Эх! Они не понимают! — смущенно воскликнул приемщик. — Вот я пойду об'ясню им . . .

Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку: он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская звали к себе, и кроме их он ничего не видал. Эта женщина была одета по-городскому — в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Фоме.

— Фома Игнатьич! — слышал он укоризненный голос Ефима. — Больно уж ты форснул широко . . . ну, хоть бы пудов полсотни! А то — нако! Там что — смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это . . .

— Отстань! — кратко сказал Фома.

— Мне что? Я молчу . . . Но как ты еще молод, а мне сказано — следи! — то за недосмотр мне и попадет в рыло . . .

— Я скажу отцу . . . — сказал Фома.

— Мне — Бог с тобой . . . ты тут хозяин . . .

— Отвяжись, Ефим! . .

Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал:

— Вот бы такую продавать привели . . . ко мне.

Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически он уже знал, из разговоров, тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными словами, эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство; его воображение упорно работало, но все таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме, и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любуясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней, — это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещевающе говорил ему:

— Вот ты теперь смотришь на бабу, — так что, не могу я молчать . . . Она тебе неизвестна, но как она — подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоем характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдем . . . да еще ладно, ежели у нас штаны целы останутся . . .

— Что тебе надо? — спросил Фома, красный от смущения.

— Мне — ничего не надо . . . А тебе — надо меня слушать . . . По бабьим делам я вполне могу быть учителем . . . С бабой надо очень просто поступать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет, как нельзя лучше . . .

— Врешь ты все! — тихо сказал Фома.

— Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до ста раз проделывал? Так что — ты вот поручи мне с ней дело вести . . . а? Я тебе с ней знакомство скручу . . .

— Хорошо . . . сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давить ему горло . . .

— Ну, вот . . . вечером я ее и приведу . . .

Вплоть до вечера Фома ходил, отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным пред кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно-ласково, точно извиняясь.

Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого, яркого костра — стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома, в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня; слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река, чуть слышно, плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте, около него, кто-то притаился и подсматривает за ним . . . Вот — идут, по сходням, торопливо, тяжелыми шагами, — доски сходень звучно и сердито хлюпают о воду . . . Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки . . .

— Не надо! — хотел крикнуть Фома.

Он уже встал — но дверь в рубку отворилась, фигура высокой женщины стала на пороге и, бесшумно, притворив за собою дверь, негромко проговорила:

— Батюшки, темно как! Есть тут живой-то кто-нибудь?

— Есть . . . — тихо ответил Фома.

— Ну, так, — здравствуйте! . .

И женщина осторожно подвинулась вперед.

— Вот я . . . зажгу огонь! . . — прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.

— Да ничего и так . . . присмотришься, так и в темноте видно . . .

— Садитесь, — сказал Фома.

— Сядем . . .

Она села на диван в двух шагах от него. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе — жалобно, не весело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потупились.

Но он не знал, о чем говорить с этой женщиной, и они оба молчали, молчанием тяжелым и неловким . . . Заговорила она:

— Скучно, поди-ка, одному-то вам?

— Да-а, — ответил Фома . . .

— А нравятся ли наши-то места? — вполголоса спрашивала женщина.

— Хорошо! Лесу много . . .

Снова замолчали . . .

— Река-то, пожалуй, красивее Волги, — с усилием выговорил Фома.

— Была я на Волге. В Симбирском . . .

— Симбирск . . . — как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова. Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, — вдруг бойким шопотом спросила его.

— Что же ты, хозяин, не угощаешь меня?

— Вот! — встрепенулся Фома. — В самом деле . . . экий я! Ну-те-ка, пожалуйте!

Он возился в сумраке, толкал стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки.

— Стыдишься? — вдруг прошептала она.

Он ощутил ее дыхание на щеке своей и так же тихо ответил:

— Да-а . . .

Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шопотом говоря:

— Ничего, не стыдись . . . ведь — нельзя без этого . . . красавчик ты мой . . . молоденький . . . жалко-то как тебя! . .

А ему плакать захотелось под ее шопот, сердце его замирало в сладкой истоме; крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные себе самому неведомые слова . . .

. . . . . .

— Уходи, — глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.

Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему:

— Ну, прощай . . .

Фоме было нестерпимо стыдно пред ней; но лишь она скрылась

за дверью, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого, присутствие чего он как бы не замечал в себе до момента утраты . . . И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу — ночь была звездная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма . . . На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Фома прислушался — подавляющая тишина разлита была в воздухе, лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов. Ему захотелось позвать женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки, с носа парохода, до него донесся чей-то вздох — похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там — она.

Она сидела у борта на палубе и, прислонясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи, ему стало тяжело.

Наклонясь к ней, он робко спросил ее.

— Что ты?

Она качнула головой и не ответила ему.

— Али я тебя обидел?

— Уйди! — сказала она.

— Да, — как же? — смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы. — Ты не сердись . . . ведь, сама же . . .

— Я не сержусь! — громким шопотом ответила она. — За что сердиться на тебя? Ты не охальник . . . чистая ты душа! Эх, соколик мой пролетный! Сядь-ка ты рядом-то со мной.

И взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.

— О чем ты плачешь? — спрашивал Фома, гладя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.

— О себе плачу . . . Пошто ты отослал меня? — жалобно спросила она.

— Стыдно мне стало, — сказал Фома, опуская голову.

— Голубчик ты мой! Говори уж всю правду — не понравилась я тебе? — спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы все падали ее большие, теплые слезы.

— Что ты это?! — даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно перед ней. А она слушала и все целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь.

Он умолк, — тогда заговорила она печально и тихо, точно по покойнике:

— А я другое подумала . . . Как сказал ты — уходи! встала я и пошла . . . И горько, горько мне сделалось от твоего слова... Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли, без устали, без отдыху; за усмешку одну, бывало, за ласковую все, чего пожелаю, делали . . . Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мне мою молодость . . . ведь уже тридцать лет мне . . . последние деньки для женщины! Э-эх, Фома Игнатьевич! — воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей певучей речи, звукам которой красиво вторило журчание воды.

— Слушай меня — береги свою молодость! Нет ничего на свете лучше ее. Ничего-то нет дороже ее! Молодостью, ровно золотом, все, что захочешь, то и сделаешь . . . Живи так, чтобы на старости было чем молодые годы вспомянуть... вот я вспомнила себя, и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной от памяти, как прежде жила . . . И опять помолодела я, как живой воды попила! Дитятко ты мое сладкое! Погуляю ж я с тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку . . . эх! до золы сгорю, коли вспыхнула!

И крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.

— По-огляды-ва-а-ай! — тоскливо завыл вахтенный на барже, и коротко оборвав «ай» — начал бить колотушкой в чугунную доску . . . Дребезжащие, резкие звуки рвали торжественную тишину ночи.

Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был итти в Пермь, — Ефим, к великому своему огорчению, увидел, что к берегу под'ехала телега и на ней черноглазая Пелагея с сундуком и какими-то узлами.

— Пошли матроса вещи взять! . . — приказал ему Фома, кивая головой на берег.

Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом, пониженным голосом, спросил:

— Так что — и она с нами?

— Она — со мной . . .

— Ну, да . . . — не со всеми же . . . О, Господи!

— Чего вздыхаешь?

— Да, — Фома Игнатьич! Ведь в большой город плывем . . . али мало там ихней сестры?

— Ну, ты молчи! — сурово сказал Фома.

— Да я смолчу . . . только не порядок это!

Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова:

— Ты, Ефим, и себе заруби на носу, и всем тут скажи — ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово — поленом по башке.

— Страхи какие! — не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг пред Фомой. Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него расширились, и он заорал:

— Посмейся! Я те посмеюсь!

Ефим, хотя и струсил, но с достоинством заговорил:

— Хоша вы, Фома Игнатьич, и хозяин . . . но как мне сказано: следи, Ефим . . . и я здесь — капитан . . .

— Капитан?! — крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнея. — А я кто?

— Так что — вы не кричите! Из-за пустяка, какова есть баба . . .

На бледном лице Фомы выступили красные пятна, он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:

— Ты! Капитан! Вот что — слово еще против меня скажешь — убирайся к чорту! Вон! На берег! Я и с лоцманом дойду. Понял? Надо мной тебе не командовать! . . Ну?

Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.

— Понял, говорю?

— По-онял, — протянул Ефим. — Из-за чего шум, однако? Из-за . . .

— Молчать!

Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина, и он быстро ушел.

Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным; но в то же время почувствовал над собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть и, войдя в каюту старика-лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином.

— Видал? — заключил он свой рассказ. — Так что, — хорошей породы щенок, с первой же охоты — добрый пёс . . . А ведь с виду он — так себе . . . человечешко мутного ума . . . Ну, ничего, пускай балуется, — дурного тут, видать, не будет . . . при таком его характере . . . Нет, как он заорал на меня! Труба, я тебе скажу! . . Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул . . .

Ефим говорил верно: за эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины, он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него все неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания — и в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью . . .

Увлечение Фомы тридцатилетней женщиной, справлявшей в об'ятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела; он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там и тут внося всего себя. Женщина, как хорошее вино, возбуждала в нем с одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности.

В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне, и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете, она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Пелагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь его текла с быстротой речной

волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Пелагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую влагают в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное и еще более привязывающее к ней Фому, — чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто, по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему:

— Ты послушай меня, как сестру твою старшую . . . Я жила, людей знаю . . . много видела на своем веку! . . Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь . . . Ты и не разберешь сначала, кто он такой? Кажись, человек, как все . . . Хвать — и пристали к тебе болячки его. С нашей сестрой — сохрани тебя Пресвятая Богородица! — осторожен будь . . . Мягок ты еще, нет настоящего закала в сердце-то у тебя . . . А до таких, как ты, бабы лакомы — силён, красив, богат . . . Всего больше берегись тихоньких — они, как пьявки, впиваются в мужчину, — вопьется и сосет, и сосет, а сама все такая ласковая, да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, — только даром сердце тебе надсадит . . . Ты к тем больше, которые, как я вот, — бойкие. Такие — без корысти живут . . .

Она, действительно, была бескорыстна. В Перми Фома накупил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала:

— Ты не больно транжирь деньги-то . . . смотри, как бы отец-то не рассердился! . . Я и так . . . и безо всего люблю тебя . . .

Уже ранее она об'явила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда — за ночь до прибытия в Казань — она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его.

— А ты прежде время не горюй, — сказала она. — Еще ночь целая впереди у нас . . . Простимся мы с тобой, тогда и пожалеешь, — коли жалко станет! . .

Но он все с большим жаром уговаривал ее не покидать его и наконец заявил, что хочет жениться на ней.

— Вот, вот . . . так! — и она засмеялась. — Это от живого-то мужа за тебя пойду? Милый ты мой, чудачок! Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женятся? Много, много будет у тебя полюбовниц то . . . Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всех сластей наешься досыта — аржаного хлебца захочется . . . вот когда женись! Замечала я — мужчине здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться . . . одной жены ему мало будет, и пойдет он тогда по другим . . . Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя . . .

Но чем больше она говорила, — тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней.

— А ты послушай-ка, что я тебе скажу, — спокойно сказала женщина. — Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло, — так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет и руки она тебе не обожжет . . .

— Не понимаю я твоих слов . . .

— А ты понимай . . . Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу . . . Вот и ухожу . . .

Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если бы в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов стиснув зубы, бледный и угрюмый, он стоял на галлерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавшее от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Пелагея махала ему платком и все улыбалась, но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фомы была мокрая, от них в сердце его, полном угрюмой тревоги, было тяжко и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, а Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине — в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то.

Толпа людей на пристани слилась в сплошное, темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.

Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галлерее, накрывая столики, где-то на корме внизу, в третьем классе, смеялся ребенок, ныла гармоника, повар дробно стучал ножами, дребезжала посуда. Разрезая волны, вспенивая их и содрогаясь от напряжения, — огромный пароход быстро плыл против течения . . . Фома посмотрел на широкие полосы взбешенных волн за кормой парохода и ощутил в себе дикое желание ломать, рвать что-нибудь, — тоже пойти грудью против течения и раздробить его напор о грудь и плечи свои . . .

— Судьба! — хриплым и утомленным голосом сказал кто-то около него.

Это слово было знакомо ему: им тётка Анфиса часто отвечала Фоме на его вопросы, и он вложил в это краткое слово представление о силе, подобной силе Бога. Он взглянул на говоривших: один из них был седенький старичок, с добрым лицом, другой — помоложе, с большими усталыми глазами и с черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой нос и желтые ввалившиеся щеки напоминали Фоме крестного.

— Судьба! — уверенно повторил старик возглас своего собеседника и усмехнулся. — Она над жизнью — как рыбак над рекой: кинет в суету нашу крючок с приманкой, а человек сейчас — хвать за приманку жадным-то ртом . . . тут она ка-ак рванет свое удилище — ну, и бьется человек о земь, и сердце у него, глядишь, надорвано . . . Так-то, сударь мой!

Фома закрыл глаза, точно ему в них луч солнца ударил, и, качая головой, громко сказал:

— Верно! Вот — верно-о!

Собеседники пристально посмотрели на него: старик — с тонкой и умной улыбкой, большеглазый — недружелюбно, исподлобья. Это смутило Фому, и он, покраснев, отошел от них, думая о судьбе и недоумевая: зачем ей нужно было приласкать его, подарив ему женщину, и тотчас вырвать из рук у него подарок так просто и обидно? И он понял, что неясное, едкое чувство, которое он носил в себе, — обида на судьбу за ее игру с ним. Он был слишком избалован жизнью для того, чтобы проще отнестись к первой капле яда в только-что початом кубке, и все сутки дороги провел без сна, думая о словах старика и лелея свою обиду. Но она возбуждала в нем не уныние и скорбь, а гневное и мстительное чувство . . .

Фому встретил крестный, и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, об'явил, когда уселся в пролетку рядом с крестником:

— Из ума выжил отец-то твой . . .

— Пьет?

— Хуже! Совсем с ума сошел . . .

— Ну? О, Господи! говорите . . .

— Понимаешь: об'явилась около него барынька одна . . .

— Что же она? — воскликнул Фома, вспомнив свою Пелагею, и почему-то почувствовал в сердце радость.

— Пристала она к нему и — сосет . . .

— Тихонькая?

— Она? Тиха . . . как пожар . . . Семьдесят пять тысяч выдула из кармана у него — как пушинку!

— О-о! Кто же это такая?

— Сонька Медынская, архитекторова жена . . .

— Ба-атюшки! Неужто она . . . Разве отец, — неужто ее в полюбовницы взял? — тихо и изумленно спросил Фома.

Крестный отшатнулся от него и, смешно вытаращив глаза, испуганно заговорил:

— Да ты, брат, тоже спятил! Ей-Богу, спятил! Опомнись! В шестьдесят три года любовниц заводить . . . да еще в такую цену! Что ты? Ну, я это Игнату расскажу!

И Маякин рассыпал в воздухе дребезжащий торопливый смех, при чем его козлиная бородка неприглядно задрожала. Не скоро Фома добился от него толка; против обыкновения старик был беспокоен, возбужден, его речь, всегда плавная, рвалась, он рассказывал, ругаясь и отплевываясь, и Фома едва разобрал, в чем дело. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача архитектора, известная всему городу своей неутомимостью по части устройства разных благотворительных затей, — уговорила Игната пожертвовать семьдесят пять тысяч на ночлежный дом и народную библиотеку с читальней. Игнат дал деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Фома не раз видел эту женщину на улицах; она была маленькая; он знал, что ее считают одной из красивейших в городе. О ней говорили дурно.

— Только-то?! — воскликнул он, выслушав рассказ крестного. — А я думал Бог весть что . . .

— Ты? Ты думал? — вдруг рассердился Маякин. — Ничего ты не думал — молокосос ты!

— Да что вы ругаетесь? — удивился Фома.

— Ты скажи — по-твоему семьдесят пять тысяч — большие деньги?

— Большие, сказал Фома, подумав. — Да ведь у отца много их . . . чего же вы так уж . . .

Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:

— Это ты говоришь?

— А кто же?

— Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость — миллион раз жизнью испытана, — она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!

Фому и раньше частенько задевал слишком образный язык крестного, — Маякин всегда говорил с ним грубее отца, — но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо, сказал:

— Вы бы не ругались зря-то, я, ведь, не маленький . . .

— Да что ты говоришь? — насмешливо подняв брови воскликнул Маякин.

Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:

— А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать, — довольно!

— Мм . . . да . . . та-ак! Извините . . .

Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка в'ехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:

— Фомка! Скажи — на ком ты зубы себе отточил? а?

— Разве острые стали? — спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.

— Ничего . . . Это хорошо, брат . . . это оч-чень хорошо! Боялись мы с отцом — мямля ты будешь! . . Ну, а водку пить выучился?

— Пил . . .

— Скоренько! . . Помногу, что ли?

— Зачем помногу-то . . .

— А вкусна?

— Не очень . . .

— Тэк . . . Ничего, все это не худо . . . Только вот больно ты открыт, — во всех грехах и всякому попу готов каяться . . . Ты сообрази насчет этого — не всегда, брат, это нужно . . . иной раз смолчишь — и людям угодишь, и греха не сотворишь. Н-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали . . . Смотри — отец-то не знает, что ты прибыл . . . дома ли еще?

Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу неслся его громкий, немного сиплый хохот. Шум пролетки, под'ехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:

— А-а! Явился . . .

Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:

— Загорел . . . поздоровел . . . молодец! Барыня! Хорош у меня сын?

— Недурен, — раздался ласковый, серебристый голос.

Фома взглянул из-за плеча отца и увидал: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон, крупные узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.

— Доброго здоровья, Софья Павловна, — умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. — Что, все контрибуции собираете с нас бедных?

Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые, золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок, и на икону.

— Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился, — орел, а? — говорил Игнат.

Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась — точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:

— Не буду мешать вам, до свидания!

Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидал, что глаза у нее темно-синие, а брови почти черные.

— Уплыла щука, — тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.

— Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил? — гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.

— Что, хороша, видно, бабеночка-то? — посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками. — Вот будешь ты при ней рот разевать . . . так она все внутренности у тебя с'ест . . .

Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:

— Погоди, я коньячку спрошу . . .

— А ты туть все пьешь, говорят . . . — неодобрительно сказал Фома.

Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:

— Да разве отцу можно этак говорить, а?

Фома сконфузился и опустил голову.

— То-то! — добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку . . .

Маякин, прищурив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малиннике.

— Где же тётка Анфиса? — спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то неловко.

— В монастырь поехала . . . Ну, говори мне, а я — выпью . . .

Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:

— Денег я истратил на себя . . . много.

— Сколько?

— Рублей . . . шестьсот . . .

— В полтора-то месяца! Не мало . . . Вижу, что для приказчика — дорог ты мне . . . Куда ж это ты их всыпал?

— Триста пуд хлеба подарил . . .

— Кому? Как?

Фома рассказал.

— Ну это — ничего! — одобрил его отец. — Это — знай наших! . . Тут дело ясное — за отцову честь . . . за честь фирмы . . . И убытка тут нету, потому — слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли . . . Ну, а еще?

— Да . . . так, как-то . . . истратил . . .

— Говори прямо . . . не о деньгах спрашиваю, — хочу знать, как ты жил, — настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.

— Ел . . . пил . . . — не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.

— Пил? Водку?

— И водку . . .

— А! Не рано ли?

— Спроси Ефима — напивался ли я допьяна . . .

— На что спрашивать Ефима? Ты сам должен все сказать . . . Так, стало быть, пьешь?

— Могу и не пить . . .

— Где уж! Коньяку хочешь?

Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.

— Эх, ты . . . чорт! Пей . . . да смотри, — дело разумей . . . Что поделаешь? . . . пьяница — проспится, а дурак — никогда... будем хоть это помнить . . . для своего утешения . . . Ну и с девками гулял? Да говори прямо уж! Что я — бить тебя, что ли, буду?

— Гулял . . . была одна на пароходе . . . От Перми до Казани вез ее . . .

— Ну . . . — Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал: — Рано, опоганился . . .

— Мне двадцать лет . . . А ты говорил, что в твое время пятнадцатилетних парнишек женили . . . — смущенно возразил ему сын.

— То — женили . . . Ну, ладно, будет про это говорить. . . Ну, повелся с бабой, — что же? Баба — как оспа, без нее не

проживешь. . . А мне лицемерить не приходится . . . я раньше твоего начал к бабам льнуть . . . Однако, соблюдай с ними осторожность . . .

Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову.

— Вот что, Фома, — вновь заговорил он сурово и твердо, — скоро я помру . . . Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело . . . помру . . . Тогда все дело на тебя ляжет . . . Ну, сначала крестный поможет тебе — слушай его! Начал ты . . . не худо, все обделал, как следует, вожжи в руках крепко держал . . . Дай Бог и впредь также . . . Знай вот что: дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет. . . Старайся стоять выше дела . . . так поставь себя, чтоб все оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем виден был тебе. . .

Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя:

— Ну, не скоро ты помрешь!

Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе, горячее чувство к отцу.

— Крестного держись . . . у него ума в башке — на весь город хватит! Он только храбрости лишен, а то — быть бы ему высоко. Да, — так, говорю, не долго мне жить осталось . . . По настоящему, пора бы готовиться к смерти . . . Бросить бы все, да поговеть, да позаботиться, чтоб люди меня добром вспомянули . . .

— Вспомянут! — уверенно сказал Фома.

— Было бы за что . . .

— А ночлежный-то дом?

Игнат взглянул на сына и засмеялся.

— Сказал Яков-то, успел! Ругал, чай, меня?

— Было немножко, — улыбнулся Фома.

— Ну, еще бы! Али я его не знаю?

— Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то. . .

Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.

— Ах старый ворон, а? Это ты верно . . . Для него что свои деньги, что мои — все едино, — вот он и дрожит. . . Цель есть у него, лысого . . . Ну-ка скажи — какая?

Фома подумал и сказал:

— Не знаю . . .

— Э! . . Соединить он деньги-то хочет . . .

— Как это?

— Да ну, догадайся! . .

Фома посмотрел на отца и — догадался.

Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав:

— Нет, я не хочу! Я на ней не женюсь!

— О? Что так? Девка здоровая, не глупая, одна у отца . . .

— А Тарас? Пропащий-то?

— Пропащий — пропал, о нем, стало быть, и речь вести не стоит . . . Есть духовная, и в ней сказано: «все мое движимое и недвижимое — дочери моей Любови» . . . А насчет того, что сестра она тебе крестовая — обладим . . .

— Все равно, — твердо сказал Фома, — я на ней не женюсь!

— Ну, об этом рано говорить . . . Однако — что это она как не по душе тебе?

— Не люблю этаких . . .

— Та-ак! Ах ты, скажите, пожалуйста! Какие же вам, сударь, больше по вкусу? . . .

— Которые попроще . . . Она там с гимназистами, да с книжками . . . ученая стала! . . Смеяться будет надо мной . . . — взволнованно говорил Фома.

— Это, положим, верно, — бойка она — не в меру . . . Но это — пустое дело! Всякая ржавчина отчищается, ежели руки приложить . . . А крестный твой — умный старик . . . Житье его было спокойное, сидячее, ну он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем . . . его, брат, стоит послушать, он во всяком житейском деле изнанку видит . . . Он у нас — ристократ — от матушки Екатерины! Много о себе понимает . . . И как род его искоренился в Тарасе, то он и решил — тебя на место Тараса поставить, чувствуешь?

— Нет, уж я сам себе место выберу, — упрямо сказал Фома.

— Глуп еще ты . . . — усмехнулся отец.

Их разговор был прерван приездом тётки Анфисы . . .

— Фомушка! Приехал . . . — кричала она где-то за дверями. Фома встал и пошел навстречу ей, ласково улыбаясь . . .

. . . Вновь жизнь его потекла медленно, и однообразно. Сохранив по отношению к сыну тон добродушно-насмешливый и поощрительный, отец в общем стал относиться к нему строже,

ставя ему на вид каждую мелочь и все чаще напоминая, что он воспитывал его свободно, ни в чем не стеснял, никогда не бил.

— Другие отцы вашего брата поленьями бьют, а я пальцем тебя не тронул!

— Видно не за что было, — спокойно заявил однажды Фома.

Игнат рассердился на сына за эти слова и тон.

— Поговори! — зарычал он. — Набрался храбрости под мягкой-то рукой. На всякое слово ответ находишь. Смотри — рука моя, хоть и мягкая была, но еще так сжать может, что у тебя из пяток слезы брызнут! . . Скоро ты вырос — как гриб-поганка, чуть от земли поднялся, а уж воняешь . . .

— За что ты сердишься на меня? — недоуменно спросил Фома отца, когда тот был в добром настроении . . .

— А ты не можешь стерпеть, когда отец ворчит на тебя . . . в спор сейчас лезешь! . .

— Да, ведь обидно . . . Я хуже не стал . . . вижу я ведь, как, вон, другие в мои лета живут . . .

— Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной раз... А ругаюсь — потому что вижу в тебе что-то не мое . . . Что оно — не знаю, а вижу — есть . . . И вредное оно тебе . . .

Эти слова отца заставили Фому глубоко задуматься. Он сам чувствовал в себе что-то особенное, отличавшее его от сверстников, но тоже не мог понять — что это такое? И подозрительно следил за собой . . .

Ему нравилось бывать на бирже, в шуме и говоре солидных людей, совершавших тысячные дела; ему льстило почтение, с которым здоровались, разговаривали с ним, Фомой Гордеевым, менее богатые промысловые люди. Он чувствовал себя счастливым и гордым, если порой ему удавалось распорядиться за свой страх чем-нибудь в отцовском деле и заслужить одобрительную усмешку отца. В нем было много честолюбивого стремления — казаться взрослым и деловым человеком, но жил он одиноко, как раньше и не чувствовал стремления иметь друзей, хотя каждый день встречался со многими из детей купцов, сверстниками своими. Не раз они приглашали его покутить, но он грубовато и пренебрежительно отказывался от приглашений и даже посмеивался:

— Боюсь . . . Узнают отцы ваши про эти кутежи, да как бить вас станут, пожалуй, и мне от них попадет по шее . . .

Ему не нравилось в них то, что они кутят и развратничают тихонько от отцов, на деньги, украденные из отцовских касс или взятые под долгосрочные векселя и большие проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность, в которой чувствовали гордость, обидную им.

Он часто вспоминал Пелагею, и сначала ему было тоскливо, когда образ ее вспыхивал в его воображении . . . Но время шло, стирало понемногу яркие краски с этой женщины, и незаметно для него место в мечтах его заняла маленькая, ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заезжала к Игнату с различными просьбами, в общем имевшими одну цель ускорить постройку ночлежного дома. В ее присутствии Фома чувствовал себя неуклюжим, огромным, тяжелым; это обижало его и он густо краснел под ласковым взглядом больших глаз Софьи Павловны. Он замечал, что каждый раз, когда она смотрела на него, — глаза ее темнели, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные белые зубы. Это всегда пугало его. Отец, подметив его взгляды на Медынскую, — сказал ему:

— Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, — как березовый уголь: снаружи он бывает такой же вот скромный, гладкий, темненький, — кажись совсем холодный, — а возьми в руку, — ожгет . . .

Медынская не возбуждала в юноше чувственного влечения, в ней не было ничего похожего на Пелагею, и вообще она была непонятна ему. Он знал, что про нее рассказывают зазорно, но тому не верил. Однако он изменил отношение к ней, когда увидал ее в коляске, сидящей рядом с толстым барином в серой шляпе и с длинными косичками волос на плечах. Лицо у него было, как пузырь — красное, надутое; ни усов, ни бороды не было на нем, и весь этот человек был похож на переодетую женщину . . . Фоме сказали, что это ее муж . . . Тогда в нем вспыхнули темные и противоречивые чувства: ему захотелось обидеть архитектора, и в то же время он почувствовал зависть и уважение к нему. Медынская показалась менее красивой и более доступной; ему стало жаль ее, и все таки он злорадно подумал:

— Противно ей, должно быть, когда он ее целует . . .

И за всем этим, он, порою, ощущал в себе какую-то бездон-

ную, томительную пустоту, которой не заполняли ни впечатления истекшего дня, ни воспоминания о давних; и биржа, и дела, и думы о Медынской — все поглощалось этой пустотой . . . Его тревожила она: в темной глубине ее он подозревал притаившееся существование какой-то враждебной ему силы, пока еще бесформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться . . .

А между тем Игнат, мало изменяясь по внешности, становился все более беспокойным, ворчливым и все чаще жаловался на недомоганье.

— Сон я потерял . . . бывало дрыхну — хоть кожу с меня сдери, не услышу! А теперь ворочаюсь, ворочаюсь с бока на бок, едва под утро засну . . . Сердце бьется неровно, то как загнанное, часто так: тук-тук-тук . . . а то вдруг замрет, — кажись вот сейчас оторвется да и упадет куда-то, в недра самые... Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! . .

И покаянно вздыхая, он поднимал к небу глаза, уже мутные, утратившие живой, умный блеск.

— Стережет меня смерть где-то по близости, — говорил он угрюмо, но покорно. И действительно — скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тело.

Это случилось в августе, ранним утром. Фома крепко спал и вдруг почувствовал, что его трясут за плечо, и хриплый голос гудит над его ухом:

— Вставай . . .

Он открыл глаза и увидал, что отец сидит на стуле у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:

— Вставай, вставай! . .

Только что взошло солнце, и свет его, лежавший на белой, полотняной рубахе Игната, еще не утратил розовой окраски.

— Рано, — сказал Фома, потягиваясь.

— После выспишься . . .

Лениво кутаясь в одеяло, Фома спросил:

— Али надо что?

— Да встань ты, братец мой, пожалуйста! — воскликнул Игнат и обиженно добавил: — Стало быть, надо, коли бужу. . .

Всмотревшись в лицо отца, Фома увидал, что оно серо, устало.

— Нездоровится тебе? Доктора, что ли? . .

— Ну его! — махнул Игнат рукой. — Чай, я не молоденький . . . и без того знаю . . .

— Что?

— Да . . . уж знаю! — таинственно сказал старик и странно как-то оглядел комнату. Фома одевался, а отец его, опустив голову, медленно говорил:

— Дышать боюсь . . . Такая у меня мысль, что если я вздохну теперь всей грудью — сердце должно лопнуть . . . Сегодня воскресенье! После ранней-то обедни за попом пошли . . .

— Что ты это, папаша! — усмехнулся Фома.

— Ничего я . . . Умывайся, да иди в сад . . . велел я туда самовар подать . . . На утреннем-то холодке и попьем чаю . . . Очень мне чаю хочется, густого, горячего. . .

Старик тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушел из комнаты. Фома посмотрел вслед отцу, колющий холод страха сжал его сердце. Наскоро умывшись, он спешно пошел в сад . . .

Там под старой, развесистой яблоней, в большом дубовом кресле сидел отец. Солнечный свет падал сквозь ветви дерева тонкими лентами на белую фигуру старика, в ночном белье. В саду было так внушительно тихо, что даже шелест ветки, нечаянно задетой платьем Фомы, показался ему громким звуком — он вздрогнул . . . На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбрасывал в воздух струю пара. В тишине и свежей зелени сада, накануне омытой обильным дождем, яркое пятно нахально сияющей шумной меди показалось Фоме ненужным, не подходящим ко времени, месту и чувству, которое родилось в нем при виде больного, согбенного старика, одетого в белое, одиноко сидящего под кровом темно-зеленой листвы, в которой скромно прятались румяные яблоки.

— Садись, — сказал Игнат . . .

— Послать бы за доктором-то . . . — нерешительно посоветовал сын, усаживаясь против него . . .

— Не надо . . . На воздухе-то отошло будто . . . А вот чаю хлебну, авось и еще легче будет . . . — говорил Игнат, наливая чай, и Фома видел, что чайник трясется в руке отца.

Молча подвинув к себе стакан, Фома наклонился над ним и с тяжестью в сердце слушал громкое короткое дыхание отца . . .

Вдруг что-то стукнуло по столу так громко, что посуда задрожала.

Фома вздрогнул, вскинул голову и встретился с испуганным, почти безумным взглядом отца. Игнат смотрел на сына и хрипло шептал:

— Яблоко упало . . . пострели его горой! Ведь как из ружья грохнуло . . . а?

— Тебе коньяку бы в чай-то . . . — предложил Фома.

— И так ладно . . .

Замолчали . . . Стая чижей пронеслась над садом, рассыпав в воздухе задорно веселый щебет. И снова зрелую красоту сада обняло торжественное молчание. Ужас все еще не исчезал из глаз Игната . . .

— Господи Иисусе Христе! — вполголоса заговорил он, истово крестясь. — Н-да . . . вот он и наступил, — последний-то час жизни . . .

— Полно, папаша! — прошептал Фома.

— Чего полно? . . Вот попьем чаю, ты пошли за попом, да за кумом . . .

— Я лучше сейчас . . .

— Сейчас к обедне ударят . . . попа нет . . . да и некуда торопиться, может еще отойдет . . .

И он стал громко схлебывать чай с блюдца . . .

— Надо бы мне год, два еще пожить . . . Молод ты . . . очень боюсь я за тебя! . . Живи честно и твердо . . . Чужого не желай, свое береги крепко . . .

Ему трудно было говорить, он остановился и потер грудь рукой.

— На людей — не надейся . . . многого от них не жди . . . Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать . . . О, Господи! помилуй грешника!

Где-то вдали густой звук колокола упал в тишину утра. Игнат с сыном трижды перекрестились . . .

За первым криком меди раздался второй, третий и скоро воздух наполнили звуки благовеста, доносившиеся со всех сторон — плавные, мерные, громко зовущие . . .

— Вот и к обедне ударили, — сказал Игнат, вслушиваясь в гул меди . . . — Ты колокола по голосу знаешь?

— Нет, отвечал Фома.

— Вот этот — слышишь? — басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва . . . а этот, с хрипотой, это у Праскевы Пятницы.

Поющие волны звона колебали воздух, насыщенный ими, и таяли в ясной синеве неба. Фома задумчиво смотрел на лицо отца и видел, что тревога исчезает из глаз его, они оживляются...

Но вдруг лицо старика густо покраснело, глаза расширились и выкатились из орбит, рот удивленно раскрылся, а из горла вылетел странный, шипящий звук:

— Ф . . . ф̣ . . . аxx . . .

Вслед затем голова Игната откачнулась на плечо, а его грузное тело медленно поползло с кресла на землю, точно земля властно потянула его к себе. Несколько секунд Фома не двигался и молчал, со страхом и изумлением глядя на отца, но потом бросился к Игнату, приподнял его голову с земли и взглянул в лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза на нем не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости . . . Фома оглянулся вокруг себя: как и раньше, в саду никого не было, а в воздухе все плавал гулкий говор колоколов . . . Руки Фомы задрожали, он выпустил из них голову отца, и она тупо ударилась о землю . . . Темная, липкая кровь тонкой струей полилась из открытого рта по синей щеке . . .

Фома ударил себя руками в грудь и, стоя на коленях пред трупом, дико и громко закричал . . . И весь трясся от ужаса, и безумными глазами все искал кого-то в зелени сада . . .

IV.

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением: в душу ему влилась тишина, — тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, что-то говорили ему, — он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, нахмурив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг.

Похоронами распоряжался Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его:

— А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плотью... Всем нам смерть уготована, ее же не избегнешь . . . стало быть, не следует прежде времени мертветь . . . Ты его не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: «егда душа от тела имать нуждею восхититися страшными аггелы — всех забывает сродников и знаемых» . . . значит, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся . . . А живой о живом пещись должен . . . Ты лучше плачь — это дело человеческое . . . очень облегчает сердце . . .

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы.

Он очнулся в день похорон, благодаря настойчивости крестного, все время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу.

День похорон был облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши:

— Гляди, сколько народу прет — тысячи! . . Сам губернатор пришел отца твоего проводить . . . городской голова . . . почти вся дума . . . а сзади тебя — обернись-ка! Софья Павловна идет . . . Почтил город Игната . . .

Сначала Фома не вслушивался в шопот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидал губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орденах на груди, и шагавшего за гробом с грустью на строгом лице.

— Блажен путь, в онь же идеши днесь, душе . . . — тихонько напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шептал в ухо крестника:

— Семьдесят пять тысяч рублей — такая сумма, что за нее можно столько же и провожатых потребовать . . . Слыхал ты, что Сонька-то, в сорочины как раз . . . закладку устраивает?

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он глубоко вздохнул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч света проник в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону.

В церкви душа Фомы напиталась торжественно-мрачной поэзией литургии, и когда раздался трогательный призыв: «Приидите, последнее целование дадим», — из груди его вырвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби.

Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом:

— «Целу-у-йте бывшего вмале с на-ами» — целуй, Фома, целуй! . . «предается бо гро-обу, ка-аменем покрывается . . . во тьму вселя-ается, с мертвыми погребается» . . .

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба.

— Тише! С ног было сшиб . . . — вполголоса заметил ему Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного.

— «Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мне, братия и друзи» . . . — просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют, и он стал дорог всем. А крестный шептал в ухо ему:

— Замечай, как они к тебе ластятся . . . чуют коты сало . . .

Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренно откликаться на них.

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему:

— Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? Ведь

я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот, не плачу я . . . Три десятка лет слишком прожили мы душа в душу с ним . . . сколько говорено, сколько думано . . . сколько горя вместе выпито! . . Молод ты — тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. А я стар . . . и вот единого друга схоронил и стал теперь, как нищий . . . не нажить уж мне товарища для души!

Голос старика странно задребезжал и заскрипел. Его лицо перекосилось, губы растянулись в большую гримасу и дрожали, морщины с'ежились, и по ним из маленьких глаз текли слезы мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул:

— Не плачьте, папаша . . . Голубчик! Не плачьте . . .

— То-то вот! — слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика.

— Тебе распускать нюни нельзя . . . — таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. — Ты теперь — полководец на войне и должен своими солдатиками командовать храбро. А солдатики твои — рубли, и у тебя их бо-ольшая армия . . . Воюй знай!

Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его.

— Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня? . .

— Говорил.

— Ты и слушай! . . Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе — хорошую победу можно одержать . . . Отец твой был крупный человек . . . да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться . . . И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше . . . Ох, что-то из тебя выйдет . . . Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме . . .

— Тётя там . . .

— Тётя . . . она хворает . . . тоже не долгая она жилица на земле . . .

— Не говорите про это, — тихо попросил Фома.

— А я буду говорить. — Смерти нечего бояться тебе, — ты не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и делай то,

к чему назначен. А человек назначен для устроения жизни на земле. Человек — капитал . . . он, как рубль, составляется из дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслице, пот да слезы, — образуются в нем душонка и умишко . . . И с того начинает он расти и вверх и вниз . . . то, глядишь, цена ему — пятак, то пятиалтынный, то сотня рублей . . . а бывает он и выше всяких цен . . . Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену знает и раньше времени она ходу нашего не остановит . . . никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный . . . Ты меня слушаешь?

— Слушаю . . .

— А что ты понимаешь?

— Все . . .

— Врешь, чай? — усомнился Маякин.

— Но только — зачем умирать надо? — тихо спросил Фома.

Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал:

— Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река — так она течет куда-нибудь... и кабы она стояла, то было бы болото . . .

— Зря вы насмехаетесь . . . — угрюмо сказал Фома. — Море тоже вон никуда не течет . . .

— Оно все реки принимает в себя . . . и бывают в нем сильные бури . . . Так же и житейское море от людей питается волнением . . . а смерть обновляет воды его . . . дабы не протухли . . . Как люди ни мрут, а их все больше становится . . .

— Что из того? Отец-то умер . . .

— И ты умрешь . . .

— Так какое мне дело, что людей больше прибывает? — тоскливо усмехнулся Фома.

— Э-эхе-хе! — вздохнул Маякин. — И никому до этого дела нет . . . Вот и штаны твои, наверно, также рассуждают: какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно? Но ты их не слушаешь, — износишь, да и бросишь . . .

Фома укоризненно посмотрел на крестного, и видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил:

— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?

— Я, деточка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ядовитостью ответил Маякин. — Я так полагаю: даст тебе дурак меду — плюнь; даст мудрец яду — пей! А тебе скажу: слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит . . .

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал:

— Не можете вы без вывертов, без этих говорить . . .

— Не могу! — воскликнул Маякин, и глаза его тревожно заиграли. — Каждый говорит тем самым языком, какой имеет. Суров я кажусь? Так, что ли?

Фома молчал.

— Эх ты . . . Ты вот что знай — любит тот, кто учит . . . Твердо это знай . . . И насчет смерти не думай . . . Безумно живому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву . . .

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и с'есть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три . . . Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки . . . Говорили о балыке и октаве солиста в архиерейском хоре и снова о балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал:

— Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком прикроет, да вслед за рюмкой и пошлет.

— По-оследуем его примеру! — гудел густой бас.

Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось закричать и выгнать вон всех этих людей, солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним.

— А ты будь поласковее, поразговорчивее . . . — вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.

— Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли? — громко и со злобой сказал Фома.

— Чшш . . . — испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице.

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услыхали, — шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, многие искоса смотрели на Фому.

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый.

— За стол прошу! — кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. — Пожалуйте, садитесь! — Сейчас блины дают.

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:

— Я обедать не буду . . .

Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрачивый голос крестного, говоривший кому-то:

— С горя, — ведь Игнат ему отцом и матерью был! . .

Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая, стройная фигурка, а рядом с ней почему-то стала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой золотисто-русой косой. — Воздух был полон унылых звуков . . . Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее . . . Но из этого чувства зарождался уже вопрос:

— Как жить буду?

Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и ушел в дом . . .

Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В сороковой день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня, при закладке. Он ехал и думал о том, как все это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.

— Эй, ей! Стой!

Он оглянулся, — с тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке.

— Ну-ка, подвези-ка меня! — говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. — Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать . . .

— Вы туда? — спросил Фома.

— А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут.

Фома искоса взглянул на него и смолчал.

— Что косишься? Не бойсь, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь?

— Это как то-есть? — сдержанно спросил Фома.

— Читал я сегодня в газете — в члены тебя выбрали по дому-то да еще в общество, в Софьино, в почетные. В'едет тебе в карман членство это? — вздохнул Маякин.

— Не разорюсь, чай?

— Не знаю я этого . . . — с'ехидничал старик. — Я насчет того больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело . . . И даже, так я скажу, что не дело это, а — одни вредные пустяки.

— Это людям-то помогать вредно? — с задором спросил Фома.

— Эх голова садовая, то-есть — капуста! — сказал Маякин с улыбочкой. — Ты вот ужо приезжай-ка ко мне, я тебе насчет всего этого глаза открою . . . надо учить тебя! Приедешь?

— Хорошо!

— Ну вот . . . А пока что, ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься . . .

— Зачем мне прятаться? — недовольно сказал Фома.

— И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет — те же деньги . . . с почетом торговому человеку везде кредит, всюду дорога . . . Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел, и чтоб, ежели сделал ты на пятак — на целковый тебе воздали . . . А будешь прятаться — выйдет неразумие одно.

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе, и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архиерей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крестником направился к этой группе, нашептывая Фоме:

— Не робей . . . Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то — щелк.

И почтительно веселым голоском он поздоровался с губернатором прежде архиерея.

— Доброго здоровьица, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!

— А, Яков Тарасович! — дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время, как старик прикладывался к руке архиерея. — Как поживаете, бессмертный старичок?

— Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! Софье Павловне нижайшее почтение! — быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой — со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел, и чувствуя, что робеет, — робел еще больше. Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе.

— Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, покойника Игната сын единственный.

— А-а! — пробасил губернатор. — Очень приятно . . . Сочувствую вашему горю, молодой человек! — пожимая руку

Фомы, сказал он и помолчал; потом уверенно добавил: — Потерять отца . . . это очень тяжелое несчастие.

И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину:

— Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, умно, Яков Тарасович . . . они не понимают истинных нужд населения . . .

— И потом, ваше пр—ство, капиталишко маленький — значит, город свою деньгу должен добавлять . . .

— Совершенно верно! Совершенно верно!

— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай Бог всякому. Я сам не пью . . . но зачем эти читальни, ежели он, — народ-то этот, — читать даже и не умеет?

Губернатор одобрительно мычал.

— А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте . . . Ежели его в малых размерах завести-то, — денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить — там дадут! Тогда и городу своих добавлять не надо, и дело будет умнее.

— Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а?

— Уж такое их дело, чтобы кричать . . .

Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.

К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом, говорила ему:

— Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось . . . Боже мой, думала я, как он должен страдать!

А Фома слушал ее и — точно мед пил.

— Эти ваши крики! Они потрясли мне душу . . . бедный вы, мальчик мой! . . Я могу говорить вам так, ведь я уже старенькая . . .

— Вы! — тихо воскликнул Фома.

— А разве нет? — спросила она, наивно глядя в его лицо.

Фома молчал, опустив голову.

— Вы не верите, что я старушка?

— Я вам верю . . . но только это неправда! — вполголоса и горячо сказал Фома.

— Неправда — что? Что вы верите мне?

— Нет! Не это . . . а то, что . . . Я — вы извините! — не

умею я говорить! — сказал Фома, весь красный от смущения. — Не образован я . . .

— Этим не надо смущаться . . . — покровительственно говорила Медынская. — Вы еще молоды, а образование доступно всем . . . Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их . . . Это люди с чистым сердцем . . . доверчивые, искренние, как дети . . . и вы из этих людей . . . Ведь вы такой, да?

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал:

— Покорно вас благодарю! . .

И увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:

— Да, я такой — что у меня на душе, то и на языке . . . Фальшивить не умею . . . смешно мне — смеюсь открыто . . . глуп я!

— Ну, зачем же так? — укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться.

— Вы, конечно, будете на обеде? — спрашивала Медынская.

— Да . . .

— А завтра на заседании у меня?

— Непременно!

— А, может быть, когда-нибудь вы и так просто . . . в гости зайдете, да?

— Я . . . благодарю вас! Приду! . .

— Мне нужно благодарить вас за это обещание . . .

Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома:

— «. . . Его же ни ветр, ни вода, не ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися и в нем жити хотящих от всякого навета сопротивного свободи . . .»

— Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? — спрашивала Медынская.

— Да . . . — кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.

— Они нашим купеческим интересам всегда будут противники, — убедительно и громко щептал Маякин, стоя недалеко от Фомы,

рядом с городским головой. — Им что? Им бы только чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей сути они постичь не могут . . . Они напоказ живут, а не для устройства жизни . . . у них, вон они, мерки-то: газеты да Швеция! Доктор-то вчера меня все время этой Швецией шпынял: народное, говорит, образование в Швеции . . . и все там прочее этакое . . . первый сорт! Но, однако, — что такое Швеция? Может быть, она — Швеция-то — одна выдумка . . . для примера приводится . . . а никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам, да по перчаткам знаем . . . И опять же мы не для нее живем, и она нам экзамента производить не может . . . мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?

А протодиакон закинув голову, гудел:

— О-основателю до-ома сего . . . ве-ечная . . . . па-амя-ать!

Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал:

— Обедать едешь?

Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по руке Фомы.

Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь среди таких парадных людей, он видел, что они и едят, и говорят, — все делают лучше его, и чувствовал, что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, — молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию — Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким, звонким тенором и сам весь — полный, маленький, круглолицый и веселый говорун — был похож на новенький бубенчик.

— Самое лучшее в нашем обществе — патронесса, самое дельное, чем мы в нем занимаемся, — ухижавание за патронессой, самое трудное — сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна, а самое умное — восхищаться патронессой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не «общества попечения о», а член общества Танталов, состоящих при Софии Медынской.

Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицмейстером, мычал

в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, чтоб все это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его.

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и все что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стукал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и смех заглушали бойкую речь крестного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более, что в ушах его все время неустанно звенел тенорок секретаря:

— Смотрите, вон встал протодиакон и заряжает легкия воздухом . . . сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу . . .

— Нельзя ли мне уйти? — тихо спросил Фома.

— Почему же нет? Это все поймут . . .

Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава, и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала.

Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он назвал их про-себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их уменье говорить обо всем, их красивые костюмы, — все это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это.

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему:

— Смотрю я на тебя, и знаешь что? — ведь ты ужасно не похож на купца . . .

— Тоже и ты на купчиху мало похожа . . . — сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее.

Он не понимал значения ее слов: обидеть она хотела ими его, или так просто сказала?

— Слава Богу! — ответила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.

— Чему рада? — спросил он.

— А что мы не похожи на наших отцов.

Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.

— Ты скажи искренно, — понизив голос, говорила она, — ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?

— Не . . . очень . . . — медленно сказал Фома.

— Ну, а я очень не люблю.

— За что?

— За все . . . Поумнее будешь — сам поймешь . . . Твой отец лучше был.

— Еще бы! — гордо сказал Фома.

После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу и, день ото дня все развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной несколько.

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тётушки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме:

— Вот и ты такой же будешь — кощей!

Все это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось пред нею сердце, и оба они подолгу излагали друг пред другом свои думы и чувства.

Оба говорили много, искренно — но Фоме казалось, что все, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время он ясно видел, что его неумелые речи нимало не интересуют ее, и она не умеет понять их. Сколько бы времени они не провели за такой беседой — она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала пред ними и раз'единяла их. Они не решались

дотронуться до этой стены, сказать друг-другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и об'единить их.

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала:

— Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу . . . скучно, итти никуда не хочется . . . Чай будешь пить?

— Буду . . . Ты что это какая, — нездоровится, что ли?

— Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали . . . — проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей, в одном простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла горка с серебром.

— Ты с обеда? — спросила Люба, входя.

Фома молча кивнул головой.

— Ну что, парадно?

— Беда! — усмехнулся Фома. — Я точно на угольях сидел... Все — как павлины, а я — как сыч . . .

Люба раставляла посуду и ничего не ответила ему.

— Ты чего, в самом деле, скучная какая? — снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.

Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала:

— Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если бы ты мог это понимать!

— Видно хороша книга, коли этак перевернуло тебя . . . — усмехнулся Фома.

— Я не спала . . . всю ночь читала . . . Ты пойми: читаешь — и точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое царство . . . И люди другие, и речи, и . . . все! Вся жизнь . . .

— Не люблю я этого . . . — недовольно сказал Фома. — Выдумки, обман. Театр тоже вот . . . Купцы выставлены для насмешки . . . разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка крестного . . .

— Театр — это та же школа, Фома, — поучительно сказала Люба. — Купцы такие были . . . И какой может быть в книгах обман?

— Как в сказках . . . Не настоящее все . . .

— Ошибаешься! Ты ведь не читал книг, — как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить.

— Ну! — махнул рукой Фома. — Брось . . . никакого толку не будет от книг твоих! . . . Вон отец-то у тебя книг не читает, а . . . ловок он! Смотрел я на него сегодня — завидно стало. Так это он со всеми обращается . . . свободно, умеючи, для всякого имеет слово . . . Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.

— Чего он добивается? — воскликнула Люба! — Денег только . . . А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле . . . и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве можно отца равнять с ними?!

— Не равняй! . . Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое . . .

— Им ничего не нравится!

— Это как же?

— Они хотят все изменить . . .

— Так ведь чего-нибудь ради они стараются? — резонно возразил Фома. — Чего-нибудь хотят?

— Счастья для всех! — горячо вскричала Люба.

— Ну, я этого не понимаю . . . — качая головой, сказал Фома. — Кто это, там, о моем счастье заботится? И опять же, какое они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела . . . на тех, что вот обедали . . .

— Это не люди! — категорически об'явила Люба.

— Да уж я там не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу — место свое они знают. Ловкий народ . . . развязный . . .

— Эх, Фома! — огорченно воскликнула Люба. — Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то . . .

— Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся . . .

— Просто ты — пустой, — об'явила Люба решительно и твердо.

— В душе моей ты не была . . . — возразил спокойно Фома. — Дум моих ты не знаешь . . .

— О чем тебе думать? — сказала Люба, пожимая плечами.

— Эко! Один я? Это раз . . . Жить мне надо? Это два. В теперешнем моем образе совсем нельзя жить — я это разве не понимаю? На смех людям я не хочу . . . Я, вон, даже говорить не умею с людьми . . . Да и думать я не умею . . . — заключил Фома свою речь и смущенно усмехнулся.

— Читать нужно, учиться нужно, — убедительно советовала Люба, расхаживая по комнате.

— В душе у меня что-то шевелится, — продолжал Фома, не глядя на нее и говоря как бы себе самому, — но понять я этого не могу. Вижу вот я, что крестный говорит . . . дело все умно . . . Но не привлекает меня . . . Те люди куда интереснее для меня.

— Это аристократия-то? — спросила Люба.

— Да . . .

— Там тебе и место! — с презрительной улыбкой сказала Любовь. — Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души?

— Почему ты знаешь их? Ведь не знакома . . .

— А книги?

Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. С ней бы поговорить!

— Да-а, — задумчиво заговорила девушка, — с каждым днем я все больше убеждаюсь, что жить — трудно . . . Что мне делать? Замуж итти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть личностью . . . я личность, потому что уже понимаю, как скверно устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит? Бежать? Не хватает храбрости . . . Что же мне делать?

Она сжала руки и поникла головой над столом.

— Если бы ты знал, как противно все . . . Ни души живой вокруг . . . С той поры, как умерла мать, — отец всех разогнал. Иные уехали учиться . . . Липа уехала. Она пишет: читай! Ах, я читаю! — с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав секунду, тоскливо продолжала:

— В книжках нет того, что нужно сердцу . . . и я не понимаю многого в них . . . Наконец, мне скучно . . . скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с человеком, а человека нет! Мне тошно . . . живешь один раз, и уже пора жить . . . а

человека все нет . . . нет! Для чего жить? Ведь я в тюрьме живу!

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел, что сказать ей кроме слов, близких к упреку:

— Вот, ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай! . .

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба.

— О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу . . . Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, чтоб и тебе все опротивело . . . и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас . . . ненавижу!

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда еще она не говорила с ним так.

— Что это ты? — спросил он ее.

— И тебя я ненавижу! Ты . . . что ты? Мертвый, пустой . . . как ты будешь жить? Что ты дашь людям? — вполголоса и както злорадно говорила она.

— Ничего не дам, пускай сами добиваются . . . — ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.

Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.

На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.

— Накинулась ты на меня, — сдержанно заговорил Фома, — чего ради? Непонятно . . .

— Не хочу я с тобой говорить! — сердито ответила Люба.

— Дело твое . . . Но все-таки . . . чем же я провинился?

— Пойми, душно мне! Тесно мне . . . Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца . . . держат меня для хозяйства . . . потом замуж! Опять хозяйство . . .

— А я тут при чем? — спросил Фома.

— Ты — не лучше других . . .

— И зато виноват пред тобой?

— Ты должен желать быть лучше . . .

— Да разве я этого не желаю!? — воскликнул Фома.

Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:

— Отец . . .

— Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил, — сказал Фома. — Хотелось мне еще тебя послушать . . . больно уж любопытно . . .

— А! Детишки мои, сизы голуби! — воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях. — Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!

Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, игриво толкнув его в бок, спросил:

— О чем больше ворковали?

— Так, о пустяках разных, — ответила Люба.

— Да разве я тебя спрашиваю? — искривив лицо, сказал ей отец. — Ты себе сиди, помалкивай, у своего бабьего дела . . .

— Про обед рассказывал я ей, — перебил Фома речь крестного . . .

— Ага! Та-ак . . . Ну, и я буду говорить про обед . . . Наблюдал я за тобой давеча . . . неразумно ты держишь себя!

— То есть как? — спросил Фома, недовольно хмуря брови.

— То есть так-таки просто неразумно, да и все тут. Говорит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь . . .

— Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца — несчастье . . . ну, я знаю это! . . А что же ему сказать!

— Так как оно мне от Господа послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу . . . Так бы сказал, или что другое в этом духе . . . Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.

— Что же мне — овцой на него глядеть? — усмехнулся Фома.

— Овцой ты глядел, — этого не надо . . . А надо ни овцой, ни волком, а так — этак — разыграть пред ним: вы наши папаши, мы ваши детишки . . . он сейчас и обмякнет.

— Это зачем же?

— А на всякий случай . . . Губернатор, он, брат, всегда куда-нибудь годится.

— Чему вы его учите, папаша! — тихо и негодующе сказала Люба.

— А чему?

— Лакейничать . . .

— Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни . . . Ты вот что — ты удались! Отыди от зла . . . и сотвори нам закуску. С Богом!

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла . . . Отец, сощурив глаза, посмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:

— Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе . . . и ежели ты ее поймешь — будешь жить без ошибок.

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.

— Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе, и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела . . . Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази — на что они?

— Чего же соображать? — скучно сказал Фома. — Известно всем, для чего . . . для бедных, немощных.

— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном иль Петром, и величают по батюшке, а не по матушке . . .

— Это вы к чему?

— А все к делу . . . Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть — во исполнение Христовой заповеди . . . Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол Господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой . . . Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» и тем пением напоминает нам о Христе, о святом Его завете помогать ближнему . . . Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению

совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы Его на пропятие, но все не можем изгнать Его из жизни, зане братия Его нищая поет на улицах имя Его и напоминает нам о Нем . . . И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые, и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.

— Ло-овко! — изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.

— Ага! — воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.

— Как же это отец-то — не догадался? — беспокойно спросил Фома.

— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то — хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных . . . И милостыню подавать не нужно теперь и, убравши с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты . . . Вот они к чему, дома эти разные, для скрытия правды они . . . для изгнания Христа из жизни нашей! Ясно ли?

— Да-а! — сказал Фома, отуманенный ловкою речью старика.

— И еще не все тут . . . еще не до дна лужа вычерпана! — воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.

Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.

— Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше . . . Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие — не наши люди . . . От них и законы, и газеты, и науки — все от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них выдернута, — они на службу пошли . . . А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним — миллионы! Так ли?

— Так! — согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.

— Так вот ты и понимай, — раздельно и внушительно продолжал старик, — жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь всякую, лентяев этих, несчастненьких, убогеньких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — им, по-Божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее — мы, на бедных жертвуем — мы, презираем их — мы . . . Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: пожалуйста, господа, помогите! А мы ему: позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной, самой жизни! И как только он нас включит — тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда Государь Император воочию узрит светлыми очами, кто есть ему верные слуги, и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили . . . Понял?

— Как же не понять! — воскликнул Фома.

Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человечек, наверно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы, — миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.

— В самом деле — для денег что ли одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают.

— Ага! — прищурив глаз, сказал Маякин.

— Эх! — обиженно воскликнул Фома. — Как же это отец-то? Говорили вы с ним?

— Двадцать лет говорил . . .

— Ну, и что он?

— Не доходила до него моя речь . . . темячко у него толстовато было, у покойного . . . Душу он держал нараспашку, а

ум у него глубоко сидел . . . Н-да, сделал он промашку . . . Денег этих весьма и очень жаль . . .

— Денег мне не жаль . . .

— Ты бы попробовал нажить хоть десятую долю из них, да тогда и говорил . . .

— Я могу войти? — раздался за дверью голос Любы.

— Можешь . . . — ответил отец.

— Вы сейчас закусывать станете? — спросила она, входя.

— Давай . . .

Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тарасович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, — сказал ему:

— Так-то, крестник! Вникай . . .

Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя:

— «А умен . . . умнее отца-то . . .»

И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:

— «Умнее, но — хуже . . .»

V.

Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы: слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприязненное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица; сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая бородка точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погрузясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге, дело шло блестяще, но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо

решил женить его на Любе и это еще более отталкивало его от старика.

Люба и нравилась ему, и казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подруги уже были замужем . . . Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца; но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека, быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней много было простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе: ему казалось, что она не живет, а бредит наяву.

Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услыхал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас:

— Гордионишко! Молокосос . . .

Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку; он ясно видел, что они и впредь это сделают, все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал:

— А как же? Торговля — все равно, что война, азартное дело. Тут бьются за суму, а в суме — душа . . .

— Не нравится это мне, — заявил Фома.

— И мне не все нравится, — фальши много! Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя, тут нужна политика! Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой — нож.

— Не очень хорошо это, — задумчиво сказал Фома.

— Хорошо — дальше будет . . . Когда верх возьмешь, тогда и хорошо . . . Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, иль лежи в грязи . . .

Старик улыбался, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль:

«Многих, видно, ты загрыз» . . .

— Лучше-то ничего нет? Тут все?

— Где же, — кроме? Всякий себе лучшего желает . . . А что оно лучше? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого места в жизни . . . иной так, иной этак. . . но все обязательно хотят, чтоб их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению . . . Даже в книге Иова это выражено: «человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Ты посмотри: ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет, чем она и занятна . . . Понял?

— Это я понимаю! — сказал Фома.

— Это надо чувствовать . . . С одним понятием никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, так пожелай, чтобы гора тебе — кочка, море тебе — лужа! Эх! Я, бывало, в твои годы играючи жил! А ты все еще нацеливаешься . . .

Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны: Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. Нужно быть лучше других, — затвердил он, и возбужденное стариком честолюбие глубоко в'елось в его сердце . . . В'елось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну: около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной, и угрюмо наблюдал.

Пред ним, по мягким коврам бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны — целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них, и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнув-

шийся, чтоб кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что изгибаясь, кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное.

— Я так люблю говорить с вами, — музыкально растягивая слова, пела она. — Все эти — мне надоели . . . они скучные, ординарные, изношенные. А вы — свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

— Терпеть не могу! — твердо ответил Фома.

— А меня? — тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

— Который раз вы это спрашиваете . . .

— Вам трудно сказать?

— Не трудно . . . да зачем?

— Мне нужно знать это . . .

— Играете вы со мной . . . — угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

— Как играю? Что значит — играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

— Люблю я вас, люблю! Разве это можно — не любить вас? — горячо говорил он, и тотчас же пониженным голосом с грустью добавлял: — Да ведь вам это не нужно! . .

— Вот вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. — Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите . . . молодо, цельно . . . Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склонясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим, всегда смущавшим Фому, блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила:

— Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести . . . Вы знаете — ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела. . . Вот вы, например: ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать . . . о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купечески, — Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно, и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически-нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы: ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы . . . Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней — ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно-острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две, три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытать его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти. Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через два дня снова являлся для пытки.

Однажды он робко спросил ее:

— Софья Павловна! . . Были у вас дети?

— Нет . . .

— Я так и знал! — с радостью вскричал Фома.

Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала:

— Почему же вы это знали? И зачем вам знать, были ли у меня дети?

Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так, точно выталкивая слова из-под земли, и каждое слово весило несколько пудов.

— Видите . . . ежели женщина, которая . . . то есть родила, то у нее глаза . . . совсем не такие . . .

— Да-а? Какие же?

— Бесстыжие! — бухнул Фома.

Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся.

— Вы простите! — сказал он наконец. — Я, может, не хорошо . . . неприлично сказал . . .

— О, нет, нет! Вы не можете сказать ничего неприличного . . . вы чистый, милый мальчик. Итак, у меня глаза не бесстыжие?

— У вас — как у ангела! — восторженно об'явил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.

А она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, — взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого.

— Идите, голубчик . . . Я устала и хочу отдохнуть . . . — сказала она ему, вставая и не глядя на него.

Он покорно ушел.

Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

— Фома! Ты почаще голову щупай, чтоб не потерять тебе ее, случаем.

— Это вы насчет чего? — спросил Фома.

— А насчет Соньки, больно уж часто ты к ней ходишь.

— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас Сонька?

— Мне — ничего, меня не убудет от того, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут — это всем известно . . . И что она любит чужими руками жар загребать — тоже все знают.

— Она умная! — твердо об'явил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. — Образованная . . .

— Умная, это верно! Образованная . . . Она тебя образует . . . Особенно шалопаи, которые вокруг нее . . .

— Не шалопаи, а . . . тоже умные люди! — злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. — И я от них учусь . . . Я

что? Ни в дудку, ни поплясать . . . Чему меня учили? А там обо всем говорят . . . всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

— Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть, как град по крыше . . . сердито! Ну, ладно, — будь похож на человека . . . только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки все же лучше Софьиных . . . А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему . . . Например — Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше — ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.

Они возвращались из затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном возке, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте: под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стаял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.

— Приедешь, — к барыне своей первым делом пойдешь? — неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.

— Схожу, — недовольно ответил Фома.

— Мм . . . Что, скажи, часто подарки делаешь ты ей? — просто и как-то задушевно спросил Маякин

— Какие подарки? Зачем? — удивился Фома.

— Не даришь? Ишь ты . . . Неужто она просто так, по любви живет с тобой?

Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал:

— Эх! Старый ведь вы человек, а говорите — стыдно слушать! Да разве она пойдет? На это?

Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел:

— Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина, — и, внезапно озлившись, плюнул. — Тьфу тебе! Всякий скот пил из кринки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал божка! . . Чо-орт! Ты иди к ней и прямо говори: желаю быть вашим любовником, — человек я молодой, дорого не берите.

— Крестный! — угрюмо и грозно сказал Фома. — Я этого слушать не могу . . . Ежели бы кто другой . . .

— Да кто, кроме меня, остережет тебя? А ба-а-тюшки! —

завопил Маякин, всплескивая руками — Это она тебя всю зиму за нос и водила? Ну но-ос! Ах, она стервоза!

Старик был возмущен; в голосе его звучали досада, злоба, даже слезы. Фома никогда еще не видал его таким, и невольно молчал.

— Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская! . .

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской, азартно, с злобным визгом.

Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать.

— Ладно, папаша, будет . . . — тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина.

— Эх, надо тебе скорее жениться! — тревожно вскричал старик.

— Христа ради, не говорите! . . . — глухо молвил Фома.

Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде . . . Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей . . .

— Ну и глуп же человек в своей юности! — негромко воскликнул Маякин. — Стоит перед ним пень дерева, а он видит — морда зверева . . . о-хо-хо!

— Говорите прямыми словами, — угрюмо сказал Фома.

— Чего тут говорить? Дело ясное: девки — сливки, бабы — молоко; бабы — близко, девки далеко . . . стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь, — и говори ей прямо, — так, мол, и так . . . Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?

— Не понимаете вы . . . — тихо сказал Фома.

— Чего я не понимаю? Я все понимаю!

— Сердца, — сердце есть у человека! — тихо сказал юноша.

Маякин прищурил глаза и ответил:

— Ума, значит, нет . . .

VI.

Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.

— Подлая . . . ангелом нарядилась!

Порой надежда робким голосом подсказывала ему:

«Может, все это клевета» . . .

Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного, и крепче стискивал зубы, еще более выпячивая грудь вперед.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее — вот и все!

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его — дома ли барыня? — горничная сказала:

— Пожалуйте в гостиную . . .

Он оробел немножко . . . но увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, — приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал . . .

А навстречу ему тихо плыли звуки струн — странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его . . . Фома не любил слушать музыку — она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может

спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонт, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.

Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях, — ее лицо серьезнее и старей, — в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и — не могла.

Юноша кашлянул . . .

— Кто это? — тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

— Это я, — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

— А! Но как вы тихо . . . Рада видеть вас . . . Садитесь! . . Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

— Ездил в затон, пароходы смотреть, — говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

— Что, в полях еще много снега?

— Сколько вам угодно . . . Но здорово тает. По дорогам — вода везде . . .

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке — она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились — и Медынская опустила голову.

— Тает! — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

— Н-да . . . ручьи везде . . . — любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

— Это хорошо . . . Весна придет . . .

— Уж теперь не задержит . . .

— Придет весна, — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

— Влюбляться станут люди, — усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.

— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.

— Мне — нечего . . . я — давно! . . Влюблен на всю жизнь...

Она мельком взглянула на него, и снова начала играть, задумчиво говоря:

— Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить . . . Сердце полно силы . . . и нет в нем ничего темного . . .

— Софья Павловна! — тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

— Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам . . . что-то хорошее . . . Знаете — у человека, много пожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там . . . нечто давно забытое . . . Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы . . . но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него . . . тогда на человека повеет . . . живительной свежестью утра дней . . .

Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочут его сердце . . . Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и не понимая их содержания, думал:

«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам» . . .

Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал . . .

— Вы думаете о том, как нужно жить? — спросила женщина.

— Иной раз подумаешь, а потом опять забудешь. Некогда! — Сказал Фома и усмехнулся. — Да и что думать? Видишь, как живут люди . . . ну, стало быть, надо им подражать.

— Ах, не делайте этого! Пожалейте себя . . . Вы такой . . . славный! . . Есть в вас что-то особенное, — что? Не знаю! Но это чувствуется . . . И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить . . . Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей

вашего круга . . . нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем . . . о, нет! Я знаю, — вам хочется чего-то иного . . . да?

Она говорила быстро с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:

«К чему это она клонит?»

Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря:

— Устройте себе жизнь как-нибудь иначе . . . Вы сильный, молодой . . . хороший! . .

— А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! — воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться . . .

— Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным! . . — с грустью сказала Медынская.

И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, — позднее он ничего не скажет ей . . .

«Господи, благослови!» — мысленно произнес он, и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:

— Софья Павловна! Будет уж! . . Мне надо говорить . . . Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступить прямо . . . открыто . . . Привлекали вы меня к себе сначала . . . а теперь вот отгораживаетесь от меня . . . Я не пойму, что вы говорите... у меня ум глухой . . . но я, ведь, чувствую — спрятать себя вы хотите . . . я вижу — понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячей и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

— О, перестаньте . . .

— Нет уж — буду говорить!

— Я знаю, что вы хотите сказать . . .

— Не все вы знаете! — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. — А вот я все знаю про вас — все!

— Да? Тем лучше для меня! — спокойно проговорила Медынская.

Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила,

и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей: — Я все знаю про вас! — она испугается, ей будет стыдно и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло; он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

— Тем лучше . . . — повторила она сухо и твердо. — Так вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало . . . Я понимаю . . . я виновата пред вами . . . Но . . . нет, я не буду оправдываться . . .

Она замолчала, вдруг, нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову . . . И стала оправлять волосы . . .

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, — надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

— Бывало, смотрел я на вас и думал: экая она красивая, хорошая . . . Голубка! . . А вы вот сами говорите — виновата . . . эхма!

Голос его оборвался. А женщина тихонько засмеялась.

— Какой вы славный и смешной . . .

Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жестокое, что он имел в груди против нее, — таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и все улыбалась; но он не вслушивался в ее слова.

— Пришел я к вам, — заговорил он, перебивая ее речь, — без жалости! . . — Думал — я ей скажу! А ничего не сказал . . . и не хочется . . . Сердце упало . . . Дышете вы на меня както . . . Эх, напрасно я увидал вас! Что вы мне? Уходить, видно надо . . .

— Подождите, голубчик, не уходите! — торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. — Зачем же так . . . сурово? Не сердитесь на меня! Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, как сами вы . . . Она должна быть веселая, бодрая . . . Я, ведь, уже старуха . . . Я, вот, тоскую . . . так пусто и скучно живется мне . . . так пусто!

Знаете, — когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может — плохо ему! Смеется не он, — жизнь смеется над ним . . . А люди . . . Послушайте! Как мать советую вам, прошу и умоляю вас — не слушайте никого, кроме вашего сердца! Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного . . . не слушайте их!

Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка.

— Жизнь строга . . . она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей . . . Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить . . . Человек доходит до того, что начинает бояться себя . . . он раздвояется на судью и преступника и судит сам себя и ищет оправдания перед собой . . . и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему — лишь бы не быть наедине с самим собой!

Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением:

— Не пойму никак я — что такое? И Любовь то же говорит ...

— Какая — Любовь? Что говорит?

— Сестра . . . То же самое, — на жизнь все жалуется. Нельзя, говорит, жить . . .

— О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом . . .

— Сча-астье! — Хорошо счастье, от которого стонут да жалобятся . . .

— Вы — слушайте, — в жалобах людей всегда много мудрости . . . Мудрость, это — боль . . .

Фома слушал убедительно звучавший голос женщины и с недоумением оглядывался. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрело как-то ново: хотя та же масса мелочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожное наводил уныние. Сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна фарфора. Тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.

— Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой . . . Никогда никто не вызывал во мне

такого теплого чувства, как вы . . . А вы, смотрите на меня так . . . недружелюбно . . . Верите вы мне? да? нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

— Не знаю! Верил я . . .

— А теперь? — быстро спросила она.

— А теперь — уйти мне лучше! Не понимаю я ничего . . . И себя я не понимаю . . . Шел я к вам и знал, что сказать . . . А вышла какая-то путаница . . . Натащили вы меня на рожон, раззадорили . . . А потом говорите — я тебе мать! Стало быть — отвяжись!

— Поймите — мне жалко вас! — тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой . . . Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал, опутавшее его.

— Жалко? . . Этого мне не надо . . . Эх, говорить я не могу! Но — сказал бы я вам! . . Не хорошо вы со мной сделали — зачем, подумаешь, завлекали человека? Али я вам игрушка?

— Мне только хотелось видеть вас около себя . . . — сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

— А как дошло до дела, — испугались вы и отгородились от меня . . . Каяться стали . . . Жизнь плохая! И что вы все на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и кроме человека никакой еще жизни нет . . . А вы еще какое-то чудовище выдумали . . . это вы — для отвода глаз, для оправдания себя . . . Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и — стонать! Ах, жизнь! Ох, жизнь! А не сами вы ее делали? И, себя жалобами прикрывая, — других смущаете . . . Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать — мне плохо, пусть и тебе будет плохо, — на же! Так, что ли? Эх, вы! Красоту вам Бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он не громко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали и резкие морщинки явились на углах их.

— Красивый человек и жить хорошо должен . . . А про вас вон говорят . . .

Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил:

— Прощайте!

— Прощайте! . . — тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

— Может, я обидное что сказал — простите! Все-таки я . . . люблю вас . . . — Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась . . .

— Нет, вы не обидели меня . . . Идите с Богом!

— Ну, так прощайте! — повторил Фома еще тише.

— Да . . . — также тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера; они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство, сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть . . .

Уж ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, а от деревьев — причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю . . .

«Что она теперь делает?» — думал Фома, представляя себе женщину одинокую, в углу тесной комнаты, среди красноватого сумрака . . .

«Лучше мне забыть про нее» . . . — решил он. Но забыть нельзя было, она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок, и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей . . . Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней; оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадью составляли одну большую

черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, — точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут . . . И сам он тоже не знает, куда идет . . . Ему представился свой дом — шесть больших комнат. Тётка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет . . . Дома — Иван, дворник, Секлетея — старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, с тупым, как у сома, рылом. И собака тоже старая . . .

«Пожалуй, надо жениться» . . . — вздохнув, подумал Фома.

Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтоб он сватал невесту, и — месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять!» — и она пойдет . . . Скажет: «Пойдем спать!» — тоже пойдет . . . Захочется ей целовать его — и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей — не хочу, уйди! — она обидится . . . О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей . . . Как это, должно быть, стыдно и неловко, когда девушка становится женой . . . И — что говорят друг другу молодые, после венца, в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов . . . Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, наверное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами . . . Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения . . .

Тут его мысль остановилась на жалобах Любови. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, — говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тётка, крестный, Любовь, Софья Павловна, — все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей.

«Что это значит? — думалось ему, — «что такое жизнь, если

это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то кроме людей, и оно мешает им жить».

Жуткое чувство страха охватило парня; он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо; темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам следом за Фомой двигалась его тень.

— Извозчик! — громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.

VII.

Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни и ночи образ ее неотступно стоял пред Фомой, вызывая в сердце ноющее чувство. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил, в ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился . . .

Работа и тоска о женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожное чувство — он не умел рассуждать; — но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительное чувство к ним. Они были ловки, хитры и умны — он это видел; в делах с ними всегда нужно было держаться осторожно; он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб . . .

Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему:

— Ананий приехал . . . Зовет тебя . . . Ты вечерком сходи к нему, да смотри язык-то свой попридержи . . . Ананий будет

его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил . . . Хитрый, старый чорт . . . Преподобная лиса . . . возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит да кошель-то и вытащит . . . Поостерегись! . .

— Должны мы ему? — спросил Фома.

— А как же! За баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно . . . Ежели будет все сразу просить — не давай . . . Рубль — штука клейкая: чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет . . .

— Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?

— А пускай он плачет — просит, ты же реви — да не давай!

Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты . . . Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот «лесовик» разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров, в молодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в огороде, в бане, каторжника, и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, — убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города, — все они, будто бы, скопили миллионы путем грабежей, убийств — а главное — сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет.

Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в об'ятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но во время опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку — нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка . . . Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о ста-

рике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него.

Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, — он увидел, что старый Щуров только-что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная, белая борода лежит на коленях. Но, и согнувшись, он был велик . . .

— Кто вошел? — не поднимая головы, спросил Ананий сиплым и сердитым голосом.

— Я. Здравствуйте, Ананий Саввич . . .

Старик медленно поднял голову и, прищурив большие глаза, взглянул на Фому.

— Игнатов сын, что ли?

— Он самый . . .

— Ну . . . Садись, вон, к окну, — поглядим, каков ты! . . Чаем, что ли, попоить?

— Я бы выпил . . .

— Коридорный! — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже исподлобья смотрел на него.

Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный, тонкий нос, загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик шевелил губами, из под них сверкали желтые, острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем . . .

— А мальчишкой-то ты больше на отца был похож! . . — вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил:
— Помнишь отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться! — продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. — Великий грешник был Игнат . . . и умер без покаянья . . . в одночасье . . . великий грешник!

— Не грешнее, чай, других-то, — хмуро ответил Фома, обидевшись за отца.

— Кого — к примеру? — строго спросил Щуров.

— Мало ли грешников!

— Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле — окаянный фармазон, твой крестный Яшка . . . — отчеканил старик.

— Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усмехаясь.

— Я? Я знаю! — уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. — Я сам тоже предстану пред Господом . . . не налегке . . . Понесу с собой ношу тяжелую пред святое лицо Его . . . Я сам тоже тешил дьявола . . . только я в милость Господню верую, а Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай . . . Яшка в Бога не верит . . . это я знаю! И за то, что не верит, — на земле еще будет наказан!

— И это вы знаете? — спросил Фома.

— И это . . . Ты не думай — я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня . . . Какой-де прозорливец! Но человек, который много согрешил, — всегда умен . . . Грех — учит . . . Оттого Маякин Яшка и умен на редкость . . .

Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома подумал: «Смерть, видно, чует . . .»

Коридорный, маленький человек с бледным, стертым лицом, внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому:

— Дерзок ты . . . И взгляд у тебя — темный . . . Раньше светлоглазых людей больше было . . . раньше души светлее были . . . Раньше все было проще — и люди, и грехи . . . а теперь пошло все мудреное . . . эхе-хе!

Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал:

— В твои годы отец твой . . . — водоливом тогда был он и около нашего села с караваном стоял . . . в твои годы Игнат ясен был как стекло . . . Взглянул на него и — сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу — не вижу — что ты? Кто ты такой? И сам ты, парень, этого не знаешь . . . оттого и пропадешь . . . Все теперешние люди — пропасть должны, потому — не знают себя . . . А жизнь — бурелом, и нужно уметь найти

в ней свою дорогу . . . где она? И все плутают . . . а дьявол — рад . . . Женился ты?

— Нет еще, — сказал Фома.

— Вот и это . . . не женат, а уж, чай, давно поган . . . Ну, а работаешь в деле твоем много?

— Приходится . . . я с крестным пока . . .

— Какая теперь у вас работа? — качая головой, говорил старик, и глаза его все играли, то темнея, то снова проясняясь. — Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил . . . в мятель, ночью . . . едет! Разбойники ждали его на дороге и убивали . . . умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои . . . Теперь в вагоне едут . . . депеши рассылают . . . а то вон, слышь, так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно . . . тут уж не без дьяволова ума! . . Сидит человек . . . не двигается . . . и грешит оттого, что скучно ему, делать нечего: машина за него делает все . . . Труда ему нет, а без труда — гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает — хорошо! Ан она, машина-то, — дьяволов капкан тебе. В труде для греха нет время, а при машине — свободно! От свободы — погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на солнце . . . От свободы человек погибнет!

И, произнося раздельно и утвердительно слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебристые волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уже забыл все то, что знал о старике и во что еще недавно верил, как в правду.

Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова, и чей страх, чья боль радовали его . . . — И все вы, теперешние, погибнете от свободы . . . Дьявол поймал вас . . . он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины и депеши . . . Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, да! Оттого и пьют, и развратничают с бабами . . .

— Ну, — тихо сказал Фома, — развратничали и пьянствовали и прежде не меньше . . .

— Молчал бы! — крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. — Тогда силы у человека больше было . . . по силе и грехи! . .

Тогда люди — как дубы были . . . И суд им от Господа будет по силам их . . . Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их . . . и увидят ангелы Божии, что не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела . . . понимаешь? Волка не осудит Господь, если волк овцу пожрет . . . но если крыса мерзкая повинна в овце — крысу осудит Он!

— Откуда людям знать, как Бог осудит человека? — задумчиво спросил Фома. — Видимый суд нужен . . .

— Пошто — видимый?

— Чтобы понимать людям . . .

— А кто, кроме Бога, судья мне?

Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сожженный Щуровым, он снова верил, что это так и было. И женщин — жен и любовниц — этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в об'ятиях его длинных, жилистых рук. И вот теперь он, ожидая смерти, которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит: кто, кроме Бога, судья мне?

«Боится он или нет?» — спросил себя Фома и задумался, исподлобья рассматривая старика.

— Да, парень! Думай . . . — покачивая головой, говорил Щуров. — Думай, как жить тебе . . . О-о-хо-хо! как я давно живу! Деревья выросли и срублены и дома уже построили из них . . . обветшали даже дома . . . а я все это видел и — все живу! Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: неужто один человек столько сделать мог? Неужто я все это изжил? . . — Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк...

Стало тихо. За окном, на крыше дома что-то негромко трещало; шум колес и глухой говор людей несся снизу, с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит . . .

— Трудно тебе жить без отца-то? — раздался его голос.

— Привыкаю . . . — ответил Фома.

— Богат ты . . . Яков умрет — еще богаче будешь, все тебе откажет. Одна дочь у него . . . и дочь тебе же надо взять . . .

Что она тебе крестовая и молочная — не беда! Женился бы . . . а то что так жить? Чай, таскаешься по девкам?

— Нет.

— Говори! Э-эхе-хе . . . помирает купец . . . Сказывал мне один лесничий, — врет ли, нет ли, — что-де раньше все собаки волками были и выродились в собак . . . Так вот и наше звание — тоже скоро все собаками будем . . . Науки изучим, модные шляпы на башки воткнем, и все, там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять . . . И ничем нас от других людей не отличишь . . . Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать . . . И купцов, и дворян, и мещан — всех под один колер подгоняют . . . Оденут в серое и учат всех одной науке . . . растят человека, как дерево . . . Зачем это? — никому неизвестно . . . И полено одно от другого хоть сучком да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были . . . Скоро нам, старикам, крышка . . . да-а! Может, никто уж и не поверит через пятьдесят, этак, лет, что на свете я жил . . . Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров . . . так-то! И что я, Ананий, окромя Бога, никого не боялся . . . И что был я в молодости мужик, а земли имел две с четвертью десятины, а под старость накопил одиннадцать тысяч десятин и все под лесом . . . да денег, может, два миллиона.

— Вот все говорят — деньги? — сказал Фома с неудовольствием. — А какая от них радость человеку?

— Мм . . . — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь . . .

— Кто ее понимает? — спросил Фома . . .

— Я! — уверенно сказал Щуров. — И всякий умный человек . . . Яшка понимает . . . Деньги? Это, парень, много! Ты разложи их пред собой и подумай — что они содержат в себе? Тогда поймешь, что все это — сила человеческая, все это — ум людской . . . Тысячи людей в деньги твои жизнь вложили. А ты можешь все их, деньги-то, в печь бросить и смотри, как они гореть будут . . . И будешь ты, в ту пору, владыкой себя считать . . .

— Этого не делают . . .

— Оттого, что у дураков денег не бывает . . . Деньги пускают в дело . . . около дела народ кормится . . . а ты надо всем тем народом — хозяин . . . Бог человека зачем создал? А чтобы

человек Ему молился . . . Он один был и было Ему одному-то скучно . . . ну, захотелось власти . . . А как человек создан по образу, сказано, и по подобию Его, то человек власти хочет . . . А что, кроме денег, власть дает? . . Так-то . . . Ну, а ты — деньги принес мне?

— Нет . . . — ответил Фома. От речей старика в голове у него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор перешел наконец на деловую почву.

— Это напрасно! — сказал Щуров, строго нахмурив брови. — Срок прошел — надо платить . . .

— Получите завтра половину . . .

— Зачем половину? Все давай!

— Уж очень нам теперь нужны деньги-то . . .

— А их нет? Однако и мне нужны . . .

— Подождите!

— Э, брат, ждать не буду! Ты не отец . . . ваш брат, молокосос, народ ненадежный . . . в месяц можешь ты все дело спутать . . . а я от того убыток понесу . . . Ты мне завтра все подай, а то векселя протестую . . . У меня это живо!

Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе . . . И лицо, и глаза у него тогда другие были, — а теперь он смотрел жестоко, безжалостно, и на щеках, около ноздрей, жадно воздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что если не заплатить ему в срок — он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей . . .

— Что, видно плохи дела-то? — усмехнулся Щуров. — Ну, говори начисто — где отцовы деньги рассыпал?

Фоме захотелось испытать старика:

— Дела не очень веселые . . . — сказал он, хмурясь, — поставок нет . . . задатков не получили . . . ну, и трудновато.

— Та-ак! . . Пособить, что ли?

— Сделайте милость . . . отсрочьте платежи-то, — попросил Фома, скромно опустив глаза.

— Мм . . . али из дружбы к отцу пособить? Пожалуй, пособлю . . .

— А на сколько времени отсрочите? — осведомился Фома.

— На полгода . . .

— Покорно благодарю . . .

— Неначем . . . Одиннадцать тысяч шестьсот за тобой . . . Ты вот что: перепиши мне векселя на пятнадцать, уплати проценты с этой суммы вперед . . . а в обеспечение я с тебя закладную на две твои баржи возьму . . .

Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил:

— Завтра пришлите векселя . . . я их вам оплачу полностью...

Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почесывая грудь, сказал:

— И так хорошо . . .

— Спасибо . . . за ласку! . .

— Не даешься ты . . . а то я бы тебя приласкал! — лениво проговорил старик, оскаливая зубы.

— Н-да! попадешь вам в руки . . .

— Тепло будет . . .

— Нагреете, что говорить . . .

— Ну, однако, паренек, будет? — сурово сказал Щуров. — Хоть ты и думаешь про себя, что не глуп . . . только рано это . . . Сыграл в ничью, да уж и хвастаться стал! . . А ты у меня выиграй . . . тогда и пляши от радости . . . Прощай-ка . . . Да денежки завтра припаси . . .

— Не беспокойтесь . . . Прощайте!

— С Богом!

Выйдя за дверь номера, Фома услыхал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сиповатым басом:

— Ми-ило-осердия двери отверзи нам . . . благословенная Богородице . . .

Фома унес с собой от старика двойственное чувство: Щуров и нравился ему и, в то же время, был противен . . .

Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его в милосердие Бога, и — старик возбуждал в нем чувство, близко к уважению.

«И этот тоже про жизнь говорит . . . и вот — грехи свои знает, а не плачется, не жалуется . . . Согрешил — подержу ответ . . . А та? . .» — Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось тоской.

«А та — кается . . . не поймешь у ней — нарочно она, или в самом деле у нее сердце болит . . .

Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызывало

в нем отвращение к старику, он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался.

— Н-ну, был я у Щурова! . . — сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол.

Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках нетерпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил:

— Наливай ему чаю, Любава! Рассказывай, Фома . . . Мне к девяти в думу надо, рассказывай скорей.

Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя.

— Э-эх! — с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасович. — Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу! Дернула меня нелегкая послать тебя! Мне самому бы пойти . . . Я бы его вокруг пальца обернул!

— Ну, едва ли! Он говорит — я дуб . . .

— Дуб? А я — пила . . . Дуб — дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны . . . И выходит, что дуб — глуп . . .

— Да ведь, все равно, платить надо . . .

— С этим не торопятся . . . умные люди! А ты — готов бегом бежать, чтобы деньги отдать . . . купец!

Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай:

— Сахар подвинь мне, видишь — не достану . . .

Лицо Любови было бледно, глаза мутны, и руки у нее двигались вяло, неловко . . . Фома посмотрел на нее и подумал:

«Смирная какая при отце-то» . . .

— О чем он говорил с тобой? — спросил его Маякин.

— Насчет грехов . . .

— Ну, конечно! Всякому человеку свое дело дорого . . . а он — фабрикант грехов . . . Давно о нем и на каторге, и в аду плачут — тоскуют, ждут — не дождутся . . .

— Увесисто говорит он, — задумчиво сказал Фома, помешивая чай в стакане.

— Меня ругал? — осведомился Маякин, ехидно искривив лицо.

— Было . . .

— А ты что?

— А я . . . слушал . . .

— Мм . . . что же слышал?

— Сильному, говорит, простится, — а слабому нет прощения. . .

— Премудрость, подумаешь! . . Это и блохи знают . . .

Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал:

— А вас он не любит . . .

— Меня, брат, никто не любит! — с гордостью сказал Маякин. — И любить меня не за что, я не девка . . . Но зато — уважают меня . . . А уважают только тех, кого побаиваются . . .

И старик хвастливо подмигнул крестнику . . .

— Говорит он увесисто . . . — повторил Фома. — Жалуется. . . Вымирает, говорит, настоящий купец . . . Всех, говорит, людей одной науке учат . . . чтобы все были одинаковы . . . на одно лицо . . .

— Считает так, что — не годится это? Дурак! — презрительно сказал Маякин.

— А почему это хорошо? — спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного.

— Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение — должны мы признать, что это умно . . . Потому — что такое человек в государстве? Ни больше, как простой кирпич, а все кирпичи должны быть одной меры, — понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса, — как я хочу, так и положу . . .

— Кому же приятно кирпичом-то быть, — хмуро сказал Фома.

— Речь не о приятном, а о деле . . . Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом . . . А башка лопнет — что поделаешь? Слаба, значит, была . . .

— Говорил он также насчет труда . . . все, говорит, машины работают, а люди от этого балуются . . .

— Поехала кума, неведомо куда! — пренебрежительно махнул рукой Маякин. — Удивительно мне — какой у тебя аппетит на всякую пустяковину! Машина! Он бы, старый пень, подумал — какая она, машина-то? Железная! — стало быть, ее не жалко, завел — она и кует тебе рубли . . . без всяких слов, без хлопот . . . пустил, она и вертится! А человек — он беспокойный и жалкий . . . он очень жалок порой бывает! Воет, ноет, плачет, просит . . . пьян напивается . . . в нем лишнего для

меня — ах, как много! А в машине, как в аршине, — ровно столько содержания, сколько требуется для дела . . . Ну, я пойду одеваться . . . пора.

Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови:

— Леший разве разберет все это . . . один говорит так, другой — этак . . .

— Вот и в книгах тоже, — тихо сказала Любовь.

Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь. И она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало, печально...

— Все читаешь? — спросил Фома.

— Да-а . . . — уныло ответила девушка.

— И тоскуешь?

— Тошно . . . Одна, потому что . . . Слова не с кем сказать...

— Плохо твое дело . . .

Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца.

— Шла бы замуж . . . — сказал Фома, чувствуя, что ему жалко ее . . .

— Отстань, пожалуйста . . . — некрасиво наморщив лоб, ответила Любовь.

— Чего отстань? Ведь пойдешь же . . .

— Вот! — со вздохом и тихо воскликнула девушка. — Вот я и думаю — надо . . . А как пойдешь? Ты знаешь ли — я такое чувствую теперь, — как будто между мною и людьми туман стоит . . . густой, густой туман!

— От книг, — уверенно вставил Фома.

— Подожди! И я перестаю понимать, что делается . . . Все мне не нравится, все чужое стало . . . Все не так, как надо, все не то . . . Я понимаю это, а сказать, что не так и почему — не могу! . .

— Не так, не так . . . — забормотал Фома. — Это у тебя от книг . . . Хоть я и сам тоже чувствую, что не так . . . Это может и оттого, что еще молоды мы . . .

— Мне сначала казалось, — не слушая его, говорила Любовь, — что я в книгах все понимаю . . .

— Бро-ось ты их! — посоветовал Фома пренебрежительно.

— Ах, полно! Разве это можно бросить? Ты знаешь — сколько разных мыслей на свете! О, Господи! И есть такие, что го-

лову жгут . . . В одной книге сказано, что все существующее на земле разумно . . .

— Все? — спросил Фома.

— Все! А в другой — напротив.

— Погоди! Разве это не чепуха?

— О чем разговор? — спросил Маякин, являясь в дверях одетый в длинный сюртук и с какими-то медалями на шее и груди.

— Так . . . — хмуро сказала Любовь.

— Насчет книг, — добавил Фома.

— Каких книг?

— Да вот она читает . . . прочитала, что все на земле — разумно . . .

— Ну!

— Ну, а я говорю — враки!

— Н-да . . . — Яков Тарасович задумался, пощипывая бородку и прищурив глаза.

— Это что за книга? — спросил он у дочери, помолчав.

— Маленькая такая . . . желтая . . . — неохотно сказала Любовь.

— Ты ее положи-ка на стол мне . . . Это не спроста тоже сказано — все на земле разумно! Ишь . . . догадался какой-то! . . Н-да . . . это очень даже ловко выражено . . . И — кабы не дураки — то совсем бы это верно было . . . Но как дураки всегда не на своем месте находятся, — нельзя сказать, что все на земле разумно . . . Прощай, Фома! Посидишь, али подвезти? . .

— Посижу еще . . .

Любовь и Фома снова остались вдвоем.

— Какой он у тебя, — кивнув головой вслед крестному, сказал Фома.

— Какой?

— На все откликается, все своим словом покрыть хочет . . .

— Да-а . . . умный! . . А вот не понимает, как тяжело мне жить . . . — печально сказала Любовь.

— Я тоже не понимаю . . . выдумываешь ты много . . .

— Что я выдумываю? — раздраженно крикнула девушка.

— Да, — все это . . . не твои, ведь, мысли-то, — чужие! . . .

— Чужие . . . чужие . . .

Она хотела сказать что-то резкое, но оборвалась и замолчала.

Фома смотрел на нее и, поставив рядом с нею Медынскую грустно подумал:

«Какое все разное . . . и люди, и женщины . . . и чувствуешь всегда разное» . . .

На улице темнело, а в комнате уже было совсем темно. Ветер качал липы, сучья их царапались о стены дома, точно холодно им было, и они просились в комнаты . . .

— Люба! — тихо сказал Фома.

Она подняла голову и посмотрела на него.

— Знаешь . . . я ведь поссорился с Медынской-то . . .

— Из-за чего? — оживляясь, спросила Любовь.

— А — так уж! . . Она обидела меня . . .

— Ну, это хорошо, что поссорился, — одобрительно сказала девушка, — а то бы она тебя завертела . . . она — дрянь, кокетка . . . ух, какие я про нее вещи знаю!

— Совсем она не дрянь, — угрюмо сказал Фома. — И ничего ты не знаешь . . . Все вы врете!

— Ну, уж, извини!

— Нет . . . вот что, Люба, — тихо и просительно сказал Фома, — ты не говори мне про нее худо . . . Я все знаю . . . ей-богу! Она сама сказала . . .

— Са-ама!? — удивленно воскликнула Люба. — Какая . . . странная! Что же она сказала? . .

— Виновата . . . — с усилием выговорил Фома и криво усмехнулся.

— Только? — в вопросе девушки звучало разочарование; Фома услышал его и с надеждой спросил:

— Мало разве? . .

— Очень ты любишь ее?

Фома молчал, посмотрел в окно и смущенно ответил:

— Не знаю . . . Кажется . . . что теперь больше, чем прежде. . .

— Удивляюсь я, как можно любить такую? — пожав плечами, спросила девушка.

— Еще как можно! — воскликнул Фома.

— Не понимаю . . . Нет, это только потому ты привязался к ней, что лучше ее не видал . . .

— Не видал! — согласился Фома и, помолчав, нерешительно сказал: — Может, лучше и нет . . .

— Она для меня, — очень нужна! — задумчиво и тихо про-

должал он. — Боюсь я ее, — то есть, не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала . . . Иной раз — тошно мне! Подумаешь — кутнуть разве, чтобы все жилы зазвенели? А вспомнишь про нее и — не решишься . . . И во всем так — подумаешь о ней: а как она узнает? И побоишься сделать . . .

— Да-а, — задумчиво протянула девушка, — значит, ты ее любишь . . . Я бы тоже . . . если б любила, то думала бы о нем . . . что он скажет?

— И все у нее, — особенное, — рассказывал Фома. — Говорит она по-своему . . . красива как, Господи! И такая маленькая . . . как ребенок . . .

— Что же у вас вышло? — спросила Любовь.

Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные им Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова.

— Я ей — эх ты! Играла ты со мной — зачем? — гневно и с упреком говорил он. А Люба, с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его:

— Вот — хорошо! Ну, а она?

— Молчит! — тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. — То есть, она говорила . . . да что в том?

Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже. А тьма в комнате все сгущалась, в окна смотрело что-то мутное.

— Зажгла бы ты огонь! . . продолжал Фома.

— Какие мы с тобой оба несчастные . . . — сказала Люба и вздохнула.

Фоме не понравилось это.

— Я — не несчастный . . . — твердо возразил он. — Я просто не привык еще жить . . .

— Человек, который не знает, что он сделает завтра, — несчастный! — с грустью говорила Люба. — Я — не знаю. И ты тоже . . . У меня сердце никогда не бывает спокойно, — все дрожит в нем какое-то желание . . .

— Это и у меня есть, — сказал Фома. — Эх! . . Надо, однако, итти в клуб . . .

— Не уходи . . . — попросила Люба.

— Надо, там ждет меня один . . . Прощай!

— До свиданья! — она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его.

— Спать ляжешь? — спросил Фома, крепко пожимая ее руку.

— Почитаю немножко . . .

— Ты к этому, как пьяница к водке . . . — с сожалением сказал он.

— Что же есть лучше?

Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них увидал лицо Любы, такое же неясное, как все, что говорила девушка, как ее желания. Фома кивнул ей головой и подумал:

«Тоже заплуталась, как и та» . . .

При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги.

Холодный, бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя сор, бросая пыль в лицо прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал:

«Ежели теперь встретится мне женщина — значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по старому . . . Завтра пойду к ней . . . А ежели мужчина — не пойду завтра, — погожу еще . . .»

Встретилась ему собака, и это так раздражило его, что ему захотелось ткнуть палкой собаку . . .

А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он, стоя около двери, беседовал с каким-то толстым и усатым человеком, но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь и говоря:

— Здравствуйте, скромный миллионщик!

Он нравился Фоме за свой веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его:

— А почему вы знаете, что я скромный?

— Он спрашивает! Человек, который живет, как отшельник, не пьет, не играет, не любит женщин . . . ах, да! Вы знаете, Фома Игнатьевич? Наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на все лето.

— Софья Павловна? — медленно спросил Фома.

— Ну, да! Заходит солнце моей жизни . . . а, может быть, и вашей?

Ухтищев состроил комически-коварную гримасу и заглянул в лицо Фомы.

А тот стоял пред ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь, и он не может помешать этому . . .

— Уезжает Медынская? — раздался жирный басовой голос. — Славно! Я рад . . .

— Позвольте — почему? — воскликнул Ухтищев.

Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека — собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова.

— А по-отому, что в городе одной кокоткой будет меньше . . .

— Фи, Мартын Никитич! — укоризненно сказал Ухтищев, наморщивая брови.

— Почему вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину. Тот окинул его пренебрежительным взглядом, отворотился в сторону и, дрыгнув ляжкой, протянул:

— Я не сказал — ко-окетка . . .

— Нельзя, Мартын Никитич, говорить так о женщине, которая . . . — заговорил Ухтищев убедительным голосом, но Фома перебил его:

— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое, — какое он слово сказал?

И проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед, отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид . . . Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся . . .

— Господа! — тихо воскликнул Ухтищев.

— Я сказал — ко-ко-тка . . . — произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. — А если вы не понимаете этого — могу пояснить . . .

— Да уж, — глубоко вздыхая, сказал Фома, не сводя с него глаз, — вы об'ясните . . .

Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них . . .

— Кокотка, если вам угодно знать, — продажная женщина... — вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме свое большое, толстое лицо.

Фома тихо зарычал и, прежде, чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы

усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и все большое, грузное тело, а левую руку поднял вверх и глухим голосом приговаривал в такт трёпки:

— За глаза — не ругайся — а ругайся — в глаза прямо — в глаза — прямо в глаза . . .

Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как смешно размахивают в воздухе толстые руки, и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркают по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опьяненный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганьем. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ноге, но он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь, под его рукой . . . Наконец его оторвали, навалились на него, и, как сквозь красноватый дым, он увидел пред собой, на полу, у ног своих, избитого им человека. Растрепанный, вз'ерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь встать; двое черных людей держали его подмышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья, и он, клокочущим от рыдания голосом, кричал Фоме:

— Меня бить . . . нельзя! Нельзя! Я имею орден . . . подлец! О, подлец! У меня дети . . . меня все знают! Мер-рзавец! . . . Дикарь . . . о-о-о! Дуэль!

А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме:

— Пойдемте! Голубчик, Бога ради . . .

— Погоди, я дам ему в рожу пинка . . . — попросил Фома. Но его потащили куда-то. В ушах его звенело, сердце билось быстро, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на под'езде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь:

— Здорово я ему задал, а?

— Слушайте! — возмущенно воскликнул веселый секретарь. — Это, извините, дико! Это чорт возьми . . . я первый раз вижу!

— Милый человек! — ласково сказал Фома. — Аль он не стоит трёпки? Не подлец он? Как можно за глаза сказать такое? Нет, ты к ней поди и ей скажи . . . самой ей, прямо! . .

— Позвольте, — дьявол вас возьми! Да ведь не за нее же только вы его отдули?

— То есть, как не за нее? А за кого? — удивился Фома.

— За кого? Я не знаю . . . очевидно, у вас были счеты! Фу, Господи! Вот сцена! Вовеки не забуду!

— Он, этот самый, кто такой? — спросил Фома и вдруг засмеялся. — Как он кричал, — дурак!

Ухтищев пристально взглянул в лицо и спросил его:

— Скажите — вы в самом деле не знаете, кого били? И действительно, за Софью Павловну только?

— Вот — ей-богу! — побожился Фома.

— Чорт знает что такое! . . — Он остановился, с недоумением пожал плечами и, махнув рукой, вновь зашагал по тротуару, искоса поглядывая на Фому. — Вы за это поплатитесь, Фома Игнатьевич . . .

— К мировому он меня? . .

— Дай Боже, чтобы так . . . Он вице-губернатора зять . . .

— Н-ну-у!? — протянул Фома, и лицо у него вытянулось.

— Н-да-с. Говоря по совести, он и мерзавец, и мошенник . . . Исходя из этого факта, следует признать, что трёпки он стоит ... Но принимая во внимание, что дама, на защиту коей вы выступили, тоже . . .

— Барин! — твердо сказал Фома, кладя руку на плечо Ухтищева. — Ты мне всегда очень нравился . . . и вот идешь со мной теперь . . . Я это понимаю и могу ценить . . . Но только про нее не говори мне худо. Какая бы она по-вашему ни была, — по-моему . . . мне она дорога . . . для меня она — лучшая! Так я прямо говорю . . . уж если со мной ты пошел — и ее не тронь . . . Считаю я ее хорошей — стало быть, хороша она . . .

Ухтищев услыхал в голосе Фомы большое волнение, взглянул на него и задумчиво сказал:

— Любопытный вы человек, надо сознаться . . .

— Я человек простой . . . дикий! . . Побил вот и — мне весело . . . А там будь, что будет . . .

— Боюсь — нехорошо будет . . . Знаете, — откровенность

за откровенность — и вы мне нравитесь . . . хотя — гм! опасно с вами . . . Найдет этакий . . . рыцарский стих и получишь от вас выволочку . . .

— Ну, уж! Чай, я еще первый раз это . . . не каждый день бить людей буду . . . — сконфуженно сказал Фома. Его спутник засмеялся.

— Экое вы, — чудовище! Вот что — драться дико . . . скверно, извините меня . . . Но, скажу вам, — в данном случае вы выбрали удачно . . . Вы побили развратника, циника, паразита . . . и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказанным.

— Вот и слава Богу! — с удовольствием выговорил Фома. — Вот я его и наказал немножко . . .

— Немножко? Ну, хорошо, положим, что это немножко . . . Только вот что, дитя мое . . . позвольте мне дать вам совет . . . я человек судейский . . . Он, этот Князев, подлец, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не преступит границы уложения о наказаниях . . . Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать ... Вы же — уж, пожалуйста, потерпите . . .

— А скоро он вам попадется в руки-то? — наивно спросил Фома.

— Н-неизвестно . . . Так как он малый не глупый, то, вероятно, никогда не попадется . . . И будет по вся дни живота его существовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства пред законом . . . О, Боже, что я говорю! — комически вздохнул Ухтищев.

— Секреты выдаешь? — усмехнулся Фома.

— Не то, чтобы секреты, а . . . не надлежит мне быть легкомысленным . . . Ч-чорт! А ведь . . . меня эта история оживила . . . Право же, Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто лягается, как лошадь . . .

Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.

— А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали — уезжает Софья Павловна . . .

— Да, уезжает . . . Ну-с!

Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него.

Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.

— Идемте?

Фома пошел, равнодушно говоря:

— Ну, и пусть уезжает . . .

Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.

— Не проживу я без нее? — спросил Фома, глядя куда-то пред собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно:

— Еще как . . .

— Слушайте! — воскликнул Ухтищев, — я дам вам хороший совет . . . человек должен быть самим собой . . . Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр . . .

— Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь, — сказал Фома, внимательно прослушав его речь.

— Попроще? Я хочу сказать — бросьте вы думать об этой даме . . . Она для вас — пища ядовитая . . .

— Вот и она говорила то же, — угрюмо вставил Фома.

— Говорила? . . — переспросил Ухтищев. — Гм . . . Вот что . . . А не пойти ли нам поужинать?

— Пойдем, — согласился Фома, и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими:

— Пойдем, так пойдем! И так я завинчу . . . так я, после всего этого, раскачаюсь — держись!

— Ну, зачем же? Мы — скромненько . . .

— Нет, погоди! — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. — Что такое? Хуже я людей? Все живут себе . . . вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт . . . А мне — скучно . . . Все довольны собой, а что они жалуются — врут, сволочи! Это так они, — притворяются для красы . . . Мне притворяться нечего — я дурак . . . Я, брат, ничего не понимаю . . . Я думать не умею . . . мне тошно . . . один говорит то, другой другое . . . А она . . . эх! Знал бы ты . . . я ведь на нее надеялся . . . я от нее ждал . . . чего я ждал? — Не знаю! . . Но она — самая лучшая . . . И я так верил — скажет она мне однажды такие слова . . . особенные . . . глаза, брат, у нее больно хороши! Господи! . . Смотреть в них стыдно . . . Ведь я не то, что с любовью к ней, — я к ней со всей душой . . .

Я думал, что коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком!

Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысли, и чувствовал за этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко-трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Все, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни, — он не скоро нашел их.

— Э, батенька! — заговорил он, ласково взяв Фому под руку. — Так — нельзя! Только-что вступили вы в жизнь и — уж философствуете! Нет, так нельзя! Жизнь — для жизни нам дана! Значит — живи и жить давай другим . . . Вот философия! А женщина эта — ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки! О, за-а-мечательный бабец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпическое. И красива, — Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару! Ах, чорт! Право же, это блестящая идея, — я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать . . .

— Мне совестно . . . — угрюмо и тоскливо сказал Фома. — Пока она жива — я на баб смотреть не могу даже . . .

— Такой здоровый, свежий человек — хо-хо! — воскликнул Ухтищев и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже.

— Это будет великолепно и это необходимо вам — поверьте! А совесть, — вы меня извините! Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а — робость! Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете все это . . . и вот это чувствование принимаете за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи, — причем тут

совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?

Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось — ей конца нет, и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно ласковый голос Ухтищева однотонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему, и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а он ощущал, как его тянет куда-то и не имел желания остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещаниям спутника — и чего ради сопротивлялся бы он? . .

— Живут однажды, — говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, — и не мешает, поэтому, торопиться жить . . . Ей-богу, так! Да что тут говорить — вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедемте сейчас в один дом . . . живут там две сестрицы . . . ах, как они живут! Решайте!

— Что ж? Я поеду . . . — сказал Фома спокойно и зевнул. — Не поздно ли? — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.

— К ним никогда не поздно! — весело воскликнул Ухтищев.

VIII.

На третий день после сцены в клубе, Фома очутился в семи верстах от города на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам . . . Молодой Званцев носил пенснэ, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное, клетчатое пальто с капюшоном и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью.

Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем — маленькие, круглые, холодные — постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой; это была высокая женщина, бледная с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку, и она с'езжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.

Господин с бакенбардами сидел рядом с молоденькой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склонясь к плечу ее, шептал ей в ухо.

А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное. Смуглолицая с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно — она себя считала первой здесь.

Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин . . . В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только-что с'ели стерляжью уху, теперь на столе пред ними стояли вина и фрукты.

Утомленная двухдневным кутежом и только-что оконченным обедом компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и, по-вешнему, бодро-молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена — сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, — точно свиньи чудовищных об'емов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов

и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток — как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались ярко-зелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и — казалось, что при малейшем дуновеньи ветра они поплывут, причудливо красивые, по зеркальному лону реки . . .

Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела:

Вдоль по Волге ре-ке
Легка лодка плы-э-ве-от . . .

Брюнетка, презрительно прищурив свои большие, строгие глаза, сказала, не глядя на нее:

— Нам и без этого скучно . . .

— Не тронь, пусть поет! — добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая.

— Давайте хором петь! . . — предложил господин с бакенбардами.

— Нет, пускай вот они две споют! — оживленно воскликнул Ухтищев. — Вера, спой эту, — знаешь? «На заре пойду» . . . Павлинька, спойте!

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:

— Можно спеть, Саша?

— Я сама буду петь! . . — заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей:

— Васса, пой!

Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила:

— Хорошо-о тому на свете жить,
У кого нету заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!

Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

— Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-еви-цы . . .

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала:

— Как былинка, сердце высохло-о-о!

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы, звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — низкий и мужественный — могуче тёк в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струей, и от каждого слова веяло местью.

— Уж я ему это выплачу . . .

жалобно пела Васса, закрыв глаза.

— За-азноблю его, по-овысушу . . .

уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки . . . И вдруг, изменив темп песни и повысив голос она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы:

— Суше ветра, су-уше буйного,
Суше той травы коше-оные . . .
Ой, коше-ные, просушеные . . .

Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные, полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспомнил ее ласки и думал:

«И откуда она, такая? Даже боязно с ней . . .»

Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом, слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости.

— Эх, — ты восчувствуй, добрый молодец! . .

тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра, еще выше вскинув голову, закончила песню:

— Какова тоска любо-овная-а-а!

Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой.

— Что, хороша песня? . . .

— Славная! — сказал Фома, улыбаясь ей.

— Браво-о! Браво, Александра Савельевна! — кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила:

— Вот ты мне и подари что-нибудь за песню . . .

— Ладно, я подарю . . . — согласился Фома.

— Что?

— Ты скажи . . .

— Скажу в городе . . . И если подаришь, что я хочу, — о, как я тебя любить буду!

— За подарок-то? — спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. — А ты бы просто . . .

Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала:

— Просто — рано . . . Я лгать не буду, прямо говорю — люблю за деньги, за подарки . . . Можно и так любить . . . да. Ты подожди, — я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно . . . А пока — не обессудь . . . мне, по моей жизни, много денег надо . . .

Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос Званцева:

— Я не могу понять красот этой прославленной русской песни . . . Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое . . . Э . . . это собачьи немощи . . . Нет веселья, нет шика . . . Вы послушайте, что и как поет француз! Или — итальянец . . .

— Позвольте, Иван Николаевич . . . — возмущенно кричал Ухтищев.

— Я должен с этим согласиться — русская песня однообразна и тускла . . . — прихлебывая вино говорил человек с бакенбардами.

Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросало на темную, холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем

темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее — никто не интересовал его из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему . . .

— Ты чего глазеешь, а? — услышал он строгий возглас Ухтищева.

Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал:

— Я — барыню послушать подошел . . .

— Хорошо поет?

— Что и говорить! — с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. — Бо-ольшая сила голосу в грудях у них!

Его слова вызвали смех дам и двусмысленные речи мужчин.

Саша спросила мужика:

— Ты — поешь?

— Как мы поем! — махнул он рукой.

— Какие песни знаешь? . .

— Да всякие . . . я петь люблю . . .

И он виновато усмехнулся.

— Давай, споем со мной.

— Куда нам! Разве вы мне — пара?

— Ну, запевай!

— Как это весело! — воскликнул Званцев, сморщив лицо.

— Если вам скучно — утопитесь! . . . — сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами.

— Нет, холодна вода . . . — ответил Званцев, ёжась под ее взглядом.

— А уж пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилым вашим телом . . .

— Фи, как остроумно! — воскликнул юноша, и с презрением добавил: — В России даже кокотки грубы . . .

Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. Павлинька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина.

— Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке, — жалобно говорил Званцев соседу.

Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его. Он ласково поглядывал на свою подругу, — нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня.

Мужик, стоя около нее, говорил:

— Барыня? Ты бы поднесла мне для ради храбрости?!

— Фома, поднеси ему стакан!

И когда мужик, выпив, вкусно крякнул, Саша скомандовала:

— Начинай . . .

Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул:

— Мне не пье-отся и-ех-ни-глотатся-а-а.

Женщина трепетно подхватила:

— Ви-ина душ-а не прима-ат . . .

Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот:

— О-э-мне-пришла-а-а-пора-а-а проща-ться-я-а.

А женщина застонала и заплакала:

— Ой со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а . . .

Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел — сказал:

— Эх и в чужу сто-орону надоть мне итти . . .

Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и свежесть вечера — вокруг стало как будто теплее и лучше; все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба, — сами слезы увлажили воздух. Тоска души измученной в борьбе страдания от ран, нанесенных человеку железной рукой нужды, — все было вложено в простые, грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха.

Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством, близким к испугу, песня кипящей волной вливалась ему в грудь,

и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши — неподвижные, они казались ему огромными и становились все больше. И ему казалось, что поют не двое людей — все вокруг поет, рыдает и трепещет в муках скорби, все живое обнялось крепким об'ятием отчаяния.

Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался.

— Что — тронуло? — спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика, — он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, как будто не понимал — что случилось?

Было тихо. Все сидели неподвижно, молча.

— Ах, Господи! — вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. — Эх, Саша! Мужик! Кто ты такой? — почти крикнул он.

— Степан . . . — виновато улыбаясь, ответил мужик.

— Как ты поешь, а? — с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте.

— Э-эх, ваше степенство! — вздохнул мужик. — Горе заставит — бык соловьем запоет . . . А вот барыня с чего поет, так . . . это уж Богу одному известно . . . а поет она — ложись и помирай! Н-ну, — барыня!

— Спел-то очень хорошо! — сказал Ухтищев пьяным голосом.

— Чорт знает что! — раздраженно и почти со слезами закричал вдруг Званцев, вскакивая из-за стола. — Я приехал гулять, — я хочу веселиться, а меня отпевают! . . Что за безобразие! Я не хочу больше, — я уезжаю!

— Жан! Я тоже уезжаю . . . — заявил господин с бакенбардами.

— Васса! — кричал Званцев. — Одевайся! . . .

— Да, пора ехать, — спокойно сказала Ухтищеву его рыжая дама. — Холодно . . . И скоро будет темно . . .

— Степан! Собирай все, — командовала Васса.

Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недоумевающими глазами и все вздрагивал. Люди, покачиваясь, ходили по плотам, бледные, утомленные и говорили друг-другу

что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи.

— Степан! Крикни лошадей . . .

— А я — выпью еще коньяку, — кто хочет коньяку со мной? — тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку.

Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать.

Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. А они все расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец, поднявшись, об'явила:

— Ну, я пьяна . . .

Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым мужик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух и ловя.

— Ах, как это пошло! — раздался капризный возглас Званцева.

Фома почувствовал, что ненавидит его, — его, и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство, удивления пред нею, и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное.

— С-скотина! — визгливо крикнул Званцев; Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку виновато, пошел в сторону . . .

— Ду-урак! — шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев.

Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал:

— Ты! Не тронь его!

— Что-о? — обернулся Званцев к нему.

Фома приподнял плечи, шагнул к нему . . . И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль! Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана:

— В трех местах звено счалено?
— В трех, как же!
— Руби связи . . .
— А они? . . .
— Молчи! Руби . . .
— Да ведь . . .
— Руби! Тише, — чтобы не заметили!

Мужик взял в руки топор, неторопясь подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и несколько раз стукнув топором, воротился к Фоме.

— Я, ваше степенство, не в ответе, — сказал он.
— Не бойся . . .
— Поехали! . . . — прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязнью.

Люди на плоту все еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде.

— Ежели их на караван снесет, — шептал мужик, — на пыжи ткнутся — разобьет вдрызг . . .
— Молчи . . . Лодку подашь, догонишь . . .
— Вот! . . . Все-таки люди.

Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по плотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше, и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми на плоту, из груди его как бы уплывало все, тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воздух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом . . . Воспоминание о ней укололо его, и он громким насмешливым голосом крикнул:

— Эй вы! Прощайте . . .

Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему и сбились в кучу, на средине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание . . .

И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков визгливых, полных животного страха, противно-жалобных, а выше всех и всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Званцева:

— Спа-асите . . .

Кто-то — должно быть, солидный господин с бакенбардами — ревел басом:

— Топят . . . топят людей . . .

— Разве вы люди?! — зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его.

Люди в безумии страха метались по плоту; он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлюпает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.

— Кланяйтесь ракам! — кричал Фома. Ему все легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше.

— Фома Игнатьевич! — нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев, — смотрите, это опасная шутка! . . Я буду жаловаться! . .

— Когда утонешь? Жалуйся! — весело ответил Фома.

— Ты — убийца! . . . — рыдая, вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел, — по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами . . .

Инстинктивно Фома бросился грудью на брёвна плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд . . . Холодные, мокрые пальцы охватили его за руки темные глаза блеснули перед ним . . .

Тупой страх, овладевший им, исчез, сменясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к

груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему . . .

— Холодно! . . — сказала Саша вздрогнув.

Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.

— Утопить меня хотел? — говорила она, крепко прижимаясь к нему.

— Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу.

— Ну, и ты не худо выдумал . . . хоть с виду смирный . . .

— А те — все орут!

— Чорт с ними! Утонут — мы с тобой в Сибирь пойдем . . . — сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.

С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем метались темные человеческие фигуры.

Ночь надвигалась на них.

IX.

Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.

— Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!

Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.

— Был бы Фомка сын мой родной — я б его вышколил!

Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему

пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношения к отцу становились теплее. Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.

— Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына — убил бы он Фомку! — говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. — Ведь как расписали? Срам!

— За дело! — сказала Любовь.

— Я не говорю — зря! Облаяли, как и следовало... И кто это разошелся?

— Не все ли вам равно? — спросила девушка.

— Любопытно... Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение... Видимо — сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был...

— Н-ну, он не станет с Фомой гулять! — убежденно сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.

— Ишь ты! Ха-арошие знакомства у тебя, Любка! — юмористически-ядовито сказал Маякин. — Ну, кто это писал?

Ей не хотелось говорить, но отец настаивал и голос его становился все суше и сердитее. Тогда она беспокойно спросила его:

— А вы ему ничего не сделаете?

— Я? Я ему — голову откушу! Ду-реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ... Сила, черти! А я не губернатор... да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может... Они, как мыши, — грызут помаленьку... н-да! Ну, так кто же это?

— А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой...

— Видал, как же!.. Так это он?

— Мышенок! И в ту пору видно уже было, что выйдет из него — непутевое... Надо бы мне тогда заняться им... может, человеком стал бы...

Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила:

— А разве тот, кто в газетах пишет, не человек?

Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабаня пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:

— Это не люди, а — нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи . . . Нарвало их везде и все больше нарывает . . . Порча крови — отчего? От медленности движения . . . Комары откуда? От болота . . . В стоячей воде всякая нечисть заводится . . . И в неустроенной жизни то же самое . . .

— Вы не то говорите, папаша! — мягко сказала Любовь.

— Это как же — не то?

— Писатели — люди самые бескорыстные . . . это светлые личности! Им ведь ничего не надо — им только справедливости, — только правды! . . Они не комары . . .

Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.

— Э-эх ты! — со вздохом сказал старик, перебивая ее. — Начиталась! Ты мне скажи — кто они? Неизвестно! Ежов, вот, — что он такое? Нашему Богу — бя! Только правды им надо, — скажете?! Ишь скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть? . . Ежели ее, может быть, каждый молча ищет? Ты мне поверь — бескорыстным человек не может быть . . . за чужое он не станет биться . . . а ежели бьется — дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел . . . за свое кровное . . . тогда он — добьется! Правда! Я почти сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу . . . вот пред тобой моя рожа, а предо мной — на самоваре вон — тоже моя, но другая . . . Вот газеты эти самоварную рожу всему и придают, а настоящей не видят ... А ты им веришь . . . Я знаю — в самоваре моя рожа испорчена.

— Папаша! — тоскливо воскликнула Любовь. — Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.

— А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот-те и не защищают твоего интересу! Да и моего не защищают . . . Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?

— Нет, папаша, это все — не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую — это не так! — говорила Любовь почти с отчаянием.

— То самое! — твердо сказал старик. — Смутилась Россиь, и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось! Все набекреня живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет . . . Орут только все на разные голоса. А кому чего надо — никто не понимает! Туман на всем . . . туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей . . . оттого и нарывы . . . Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено — от этого человек не живет, а гниет и воняет . . .

— Что же надо делать? — спросила Любовь, облокачиваясь на стол и наклоняясь к отцу.

— Все! — азартно крикнул старик. — Все делай . . . Валяй, кто во что горазд! А для того — надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он — все может и сотворен для полного распоряжения жизнью — дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и — пером полетит — и туда и сюда . . . Чудотворцем себя возомнит и начнет он тогда дух свой испущать . . .

Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:

— А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и — в скорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем . . . Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут . . . действительными штатскими хозяевами жизни быть . . . которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? — И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь:

— Ну, так теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе-хе-хе!

Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то . . .

— Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, — жизнь на свой лад, по-умному и устроят . . . Не шаля-валя

пойдет дело, а — как по нотам! Не доживешь до этого, жаль! . .

На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, — падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.

— Папаша! — вдруг спросила она старика, повинуясь внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. — Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?

Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:

— Это что за разговор?

— Разве нельзя говорить про него? — тихо и смущенно сказала Любовь.

— Не хочу я о нем говорить . . . И тебе не советую! — старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову. Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, не верно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:

— Тараска — тоже нарыв . . . Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас — муть в башках . . . Тараска . . . Лет за тридцать ему теперь . . . пропал он для меня! . . Тупорылый поросенок . . .

— Что он сделал? — спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика . . .

— А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может . . . ежели умен стал . . . А должно — стал-таки умником . . . не глупого отца сын . . . и потерпел не мало . . . Балуют их, нигилистов! . . Мне бы их — я бы им указал дело . . . В пустыни! В пустынные места — шагом марш! . . Ну-ка

вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков . . . Ну-те-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили — чему вы научились? Пожалуйте должок . . . Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы — отдай! Человеком пренебрегать нельзя, — в тюрьму его посадить — мало! Ты переступил закон, да и барин? Нет, ты мне поработай . . . От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал — нельзя этого допускать! . . Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет — так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек — никогда не дрянь . . . Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы. Вот теперь Фомка . . . Кто это там лезет, взгляни-ка! . . .

Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан «Ермака». Лицо у него было безнадежно-виноватое и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:

— Что случилось?

— Так что — я к вам! — сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.

— Ну, вижу, ко мне . . . В чем дело? Где пароход?

— Пароход — там! — Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.

— Где, чорт? Говори — что случилось? — гневно закричал старик.

Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:

— Баржу № 9-й разбили. Человеку спину перешибли, — а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп . . .

— Та-ак! — зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. — Н-ну, Ефимушка, сдеру же я с тебя шкуру . . .

— Это не я! — быстро сказал Ефим.

— Не ты? — крикнул старик и весь затрясся. — Кто?

— Сами хозяин . . .

— Фомка?! А ты, — ты что?

— Я — в люке лежал . . .

— А-а! Ты ле-жал . . .

— Связанный . . .

— Что-о? — взвизгнул старик тонким голосом.

— Позвольте по порядку . . . Так что они были выпимши и кричат: ступай прочь! Я сам буду командовать! Я говорю — не могу! Как я — капитан . . . Связать, говорят, его! И, связавши, спустили меня в люк, к матросам . . . А как сами были выпимши, то и захотели пошутить . . . Встречу нам шел воз . . . шесть порожних барж под «Черногорцем». Фома Игнатьич и загородили им путь . . . Свистали те . . . не раз . . . надо говорить правду — свистали!

— Н-ну?

— Ну, и не справились . . . две передние навалило на нас . . . как они вдарили в борт нашей, мы и вдребезги . . . И они обе разбились . . . А нам куда горше пришлось . . .

Маякин встал со стула и засмеялся дребезжащим, злым смехом. А Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:

— Характер у них очень уж крупный . . . Тверезые они больше все молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины — и взовьются . . . Так что — в ту пору они и себе, и делу не хозяин, а лютый враг — извините! Я хочу уйти, Яков Тарасович! Мне без хозяина — не свычно, не могу я без хозяина жить . . .

— Молчать! — сурово сказал Маякин. — Где Фома?

— Там, на месте . . . Они, тотчас, опосля этого случая пришли в себя и тут же послали за рабочими . . . Поднимать будут баржу . . . чай, уж и начали . . .

— Один он там? — спросил Маякин, опуская голову.

— Не . . . совсем . . . — тихо ответил Ефим, искоса посмотрев на Любовь. — Барыня при них . . . черная такая . . . — Вроде как не в своем уме женщина . . . — вздыхая сказал Ефим. — Все поет . . . очень хорошо поет . . . соблазн большой.

— Я тебя про нее не спрашиваю! — злобно закричал Маякин. Морщины лица его болезненно сморщились, и Любови показалось, что отец заплачет сейчас . . .

— Успокойтесь, папаша! — ласково попросила она. — Может быть, убыток не велик . . .

— Не велик? — звонко крикнул Яков Тарасович. — Что ты, дура, понимаешь! Разве баржа разбилась!? Эх ты! Чело-

век разбился! Вот оно что! А ведь он — нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!

Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому . . .

Фома в это время был верст за четыреста в деревенской избе, на берегу Волги. Он только-что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена, смотрел угрюмо в окно, на небо, покрытое серыми, лохматыми тучами.

Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят, — ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое . . . и в себе он чувствовал такое же . . . Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы.

Ему казалось, что он упал в мутный, горячий поток, его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день — новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду и кто-то целовал ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, как лягушки . . . Целовал и с плачем просил не убивать . . . Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней . . . Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела:

— Так будем же жить, пока можно . . .
А там—хоть трава-а не расти!

. . . Все эти люди, как и он, охвачены тою же темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им, — боязно, должно быть, заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено-сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже все это делал. Теперь ему казалось, что делал он все это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни.

Среди сутолоки кутежей, в толпе людей, смятенных буй-

ными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя — одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом, и все ее движения были одинаково уверенны, точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж; она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково: с извозчиком, лакеем и матросом тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими, и с ним Фомой. Она была красивее и моложе Пелагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны . . . Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это, тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза.

Как-то раз Фома сказал ей:

— Однако, сколько мы с тобой денег-то посеяли.

Она взглянула на него и спросила:

— А куда их беречь?

— Куда, в самом деле? — подумал Фома, удивленный тем, что она так просто рассуждает.

— Ты кто такая? — спросил он ее в другой раз.

— Разве забыл, как меня зовут?

— Ну, вот еще! . .

— Так чего ж тебе надо?

— Я насчет происхождения спрашиваю . . .

— А! Ну, ярославская я, — из Углича, мещанка . . . Арфистка . . . Что же, — слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?

— Разве я узнал? — усмехаясь, спросил Фома.

— Мало тебе! А больше — я ничего не скажу . . . На что? Все из одного места родом, — и люди, и скоты . . . Пустяки все эти разговоры . . . Ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня?

В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское и все страшно напились. Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как

ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней «русскую», устал, бросился за борт, и едва не утонул.

Теперь, вспоминая это — и многое другое, — он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые, тягучие мысли. Как будто все, что он пережил за это время, скрутилось в нем в клубок тяжелый и сырой, и, вот, теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие серые нити.

«Что это со мной происходит? — думал он. — Кто я такой?»

Его поразил этот вопрос, и он остановился над ним, пытаясь додуматься, — почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут? Ему стало еще более совестно от этой мысли, он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.

— Тише! . . — сквозь сон сказала она.

— Ну, ладно, не велика барыня! — пробормотал Фома.

— Что?

— Ничего . . .

Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнув, заговорила лениво:

— Видела во сне, будто опять арфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая, грязная собака, оскалила зубы и ждет, когда я кончу . . . А мне страшно ее . . . и знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь . . . и вот я все пою, пою . . . и вдруг будто не хватает у меня голосу . . . Страшно! А она — щелкает зубами . . . К чему это? . .

— Погоди болтать! — угрюмо остановил ее Фома. — Ты вот что скажи: что ты про мéня знаешь?

— А вот знаю, что проснулся ты, — не поворачиваясь к нему, ответила она.

— Это верно — проснулся я, — задумчиво молвил Фома и, закинув руки за голову, продолжал: — Оттого тебя и спрашиваю — какой я, по-твоему, человек?

— Похмельный, — зевнув ответила Саша.

— Александра! — просительно воскликнул Фома, — Не балуй! Ты скажи, по совести, что ты обо мне думаешь?

— Ничего не думаю! — сухо ответила она.

Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим, равнодушным голосом:

— Скажи ему! С какой, это, стати стану я думать о всяком? Мне о себе подумать и то — некогда . . . А, может, не хочется . . .

Фома сухо засмеялся и сказал:

— Мне бы не хотеть ничего! . .

Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря:

— Мудришь ты . . . Смотри — добра от этого тебе не будет... Ничего я не могу сказать про тебя . . . Ну, вот, скажу я тебе — других ты лучше . . . Что же из этого будет?

— А почему лучше? — задумчиво спросил Фома.

— Да — так! Песню хорошую поют — плачешь ты . . . подлость человек делает — бьешь его . . . С женщинами — прост, не охальничаешь над ними . . . Ну, и удалым можешь быть . . .

Все это не удовлетворяло Фому.

— Не то ты говоришь! — тихо сказал он.

— Ну, я не знаю, чего тебе надо . . . Баржу поднимут — что будем делать?

— Что нам делать? — спросил Фома.

— В Нижний поедем или в Казань?

— Зачем?

— Кутнем . . .

— Не хочу я больше кутить . . .

Оба они долго молчали, не глядя друг на друга.

— Тяжелый у тебя характер, — заговорила Саша. — Скучный.

— Пьянствовать я больше не буду! — твердо сказал Фома.

— Врешь! — возразила Саша спокойно.

— Вот увидишь! Ты что думаешь — хорошо так жить?

— Увижу.

— Нет, ты скажи — хорошо?

— А — что лучше?

Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал:

— Экие у тебя слова — противные! . .

— И тут не угодила! — усмехнувшись, молвила Саша.

— Нар-род! — говорил Фома, болезненно сморщив лицо. — Живут, тоже . . . а как? Лезут куда-то . . . Таракан ползет — и то знает, куда и зачем ему надо, а ты — что? Ты — куда?

— Погоди! — спокойно остановила его Саша: — Тебе до меня какое дело? Ты от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!

— В ду-ушу! — презрительно протянул Фома. — В какую душу?

Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.

— Душа! — воскликнул он, добиваясь своего. — Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе — огонь горит . . . стыд в ней . . .

Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.

— Что смотришь? — спросил Фома.

— Ты это зачем говоришь? — ответила она ему, не спуская с него глаз.

В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость пред ней и уже без задора в голосе сказал:

— Как же не говорить?

— Э-эх ты! — вздохнула Саша и снова принялась одеваться.

— А что я?

— Да так . . . Ровно ты от двух отцов родился . . . Знаешь ты, что я заметила за людьми?

— Ну?

— Который человек сам за себя отвечать не может, значит — боится он себя, значит, грош ему цена!

— Это ты про меня? — спросил Фома, помолчав.

Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким, глухим голосом человеку, лежавшему у ног ее:

— О душе моей ты не смеешь говорить . . . Нет тебе до нее дела! Я — могу говорить! Я бы, захотевши, сказала всем вам — эх, как! Есть у меня слова про вас . . . как молотки!

Так бы по башкам застукала я . . . с ума бы вы посходили . . . Но — словами вас не вылечишь . . . Вас на огне жечь надо, вот как сковороды в чистый понедельник выжигают . . .

Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее — женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала:

— Не смотри, что я гулящая! И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет . . . Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас! От злобы и молчу . . . потому — боюсь, что если скажу ее — пусто в душе будет . . . жить нечем будет! . .

Теперь она снова нравилась ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице сказал ей:

— И я тоже чувствую — растет у меня в душе что-то . . . Эх, заговорю и я своими словами, придет время.

— Против кого это? — небрежно спросила Саша.

— Против всех! — воскликнул Фома, вскакивая на ноги. — Против фальши! . . Я спрошу . . .

— Спроси-ка: самовар готов? — равнодушно приказала ему Саша.

Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:

— Пошла к чорту! Спрашивай сама.

— Чего ты лаешь?

И она ушла из избы . . .

. . . Ветер резкими порывами летел над рекой, и покрытая бурыми волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие, гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:

— Идёт — идёт — идёт!

У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами, из толстых бревен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали . . . Толпа мужиков в синих и красных рубахах

волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:

— Идёт — идёт — идёт!

К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, и везде мелькали большие руки, с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо кряхтели бревна, раненые топорами; болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.

— Ре-ебя-а-тушки, бе-ерем, давай!

— Разуда-алый ещо-о разок!.. — просительно выводил кто-то высоким голосом . . .

Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум, вокруг него, вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать — заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам — никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтоб подогнать их, показать им пример.

Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то-и-дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке: он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутки, крепкую ругань и работал без устали, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

«Счастливый, должно быть . . .» — думал Фома. Эта мысль вызывала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачены пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со

дна реки затонувшую баржу; все были бодро веселы и — жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что, ведь, вот — для него все это делается, а, однако, он тут не при чем . . .

— Где же мое место? — угрюмо думалось ему. — Где мое дело?

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел к нему и сказал не громко, с какой-то особенной ясностью в словах:

— Все изготовили, Фома Игнатьич, все теперь как следоваит . . . Благословясь, — начать бы! . .

— Начинай . . . — кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону от проницательного взгляда узких глаз мужика.

— Вот и слава Тебе, Господи! — сказал подрядчик, неторопливо застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно поворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул:

— По-о местам, ребятушки!

Мужики, живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки.

— Смотри, ребята! — раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика. — Все ли как быть надо? Придет пора бабе родить — рубах неколи шить . . . Ну — молись Богу!

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знамением креста. Иные молились вслух, глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:

— Господи, благослови! . . Пресвятая Богородица . . . Никола угодник . . .

Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему, как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:

— Попросить бы и вам Господа-то . . .

— Ты знай свое дело, — меня не учи! — сердито взглянув на него, ответил Фома. Чем дальше шло дело — тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтоб их постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в голове его мелькала злая мысль:

— «Может, еще цепи порвутся» . . .

— Слушай! — кричал подрядчик. — И вдруг всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал:

— По-о-оше-о-ол!

Рабочие подхватили его крик, и все в голос возбужденно и с напряжением закричали:

— По-оше-ол! Иде-от . . .

Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рев рабочих покрывал собой все звуки.

— Ве-есь по-ошёл, весь пошёл — пошё-ол . . . — пели они стройно и торжествующе. А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика:

— Ребяту-ушки-и! Разо-ом . . . разо-ом . . .

Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.

— Разо-ом! разо-ом! . . — кричал он диким голосом. Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу

возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его все растет. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шел навстречу сил тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки. Каждый шаг вперед все больше возбуждал его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел, и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что, вот, сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное заступающее ему путь, — опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство, и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими.

— Ве-есь по-ошел, весь пошол, поше-ол . . .

— Сто-ой! Крепи! Стой, ребята! . .

Фому толкнуло в грудь и откинуло назад . . .

— С благополучным окончанием, Фома Игнатьич! — поздравлял его подрядчик, и морщины дрожали на лице его радостными лучами. — Слава Тебе, Господи! Устали?

Холодный ветер дул в лицо Фомы. Довольный, хвастливый шум носился вокруг него; ласково переругиваясь, веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его. Он растерянно улыбался: возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны.

— Сто семьдесят тысяч пудов ровно редьку из грядки выдернули!

Фома, стоя на груде каната, смотрел через головы рабочих и видел: среди барж, борт о борт с ними, явилась третья, черная, скользкая, опутанная цепями. Всю ее покоробило, она точно вспухла от какой-то страшной болезни и, немощная, неуклюжая, повисла над водой между своих подруг, опираясь на них. Сломанная мачта печально торчала посреди нее; по палубе текли красноватые струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубе лежали груды железа, мокрые обломки дерева.

— Подняли? — спросил Фома, не зная, что ему сказать при виде этой безобразной, тяжелой массы, и снова чувствуя

обиду при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять из воды эту грязную, разбитую уродину, он так вскипел душой, так обрадовался . . .

— Что она . . . — неопределенно сказал Фома подрядчику.

— Ничего! Разгрузить скорее, да человечков двадцать артельку плотников на нее спустить — они ее живо в образ приведут! — утешающим голосом говорил подрядчик.

А русый парень, широко и весело улыбаясь в лицо Фомы, спрашивал:

— Водченка-то будет?

— Успеешь! — сурово сказал ему подрядчик. — Видишь — устал человек . . .

Тогда мужики заговорили:

— Как не устать!

— Легкое ли дело!

— С непривычки, известно, устанешь . . .

— С непривычки и кашу есть трудно.

— Не устал я . . . — хмуро сказал Фома, и снова раздались почтительные возгласы мужиков, все плотнее обступавших его:

— Работа ежели в охоту кому, — дело приятное.

— Та же игра . . .

— Вроде как с бабой побаловаться . . .

Только русый парень твердо стоял на своем:

— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? — говорил он, улыбаясь и вздыхая.

Фома смотрел на бородатые лица пред собой и чувствовал в себе желание сказать им что-нибудь обидное. Но в голове его все как-то спуталось, он не находил в ней никаких мыслей и, наконец, не отдавая себе отчета в словах, сказал с сердцем:

— Вам бы все пьянствовать только! Вам, все равно, что ни делать! А вы бы подумали — зачем? К чему? . . Эх, вы! Понимать надо . . .

На лицах людей, окружавших его, выразилось недоумение: синие и красные бородатые фигуры начали вздыхать, почесываться, переминаться с ноги на ногу. Иные, безнадежно посмотрев на Фому, отворотились в сторону.

— Н-да! — вздохнув, сказал подрядчик. — Это . . . не мешает! То-есть — чтобы подумать! Это слова . . . от ума!

— Разве наше дело понимать? — сказал русый парень,

тряхнув головой. Ему уже скучно стало говорить с Фомой; он заподозрил его в нежелании дать на водку и сердился немножко.

— Вот то-то! — поучительно сказал Фома, довольный тем, что парень уступил ему, и не замечая косых насмешливых взглядов. — А кто понимает . . . тот чувствует, что нужно — вечную работу делать!

— Для Бога значит! — пояснил подрядчик, оглядывая мужиков, и, благочестиво вздохнув, добавил: — Это верно, — ох, верно это!

А Фома воодушевлялся желанием говорить что-то правильное и веское, после чего бы все эти люди отнеслись к нему как-нибудь иначе, — ему не нравилось, что все они, кроме русого, молчат и смотрят на него недружелюбно, исподлобья, такими скучными, угрюмыми глазами.

— Нужно такую работу делать, — говорил он, двигая бровями, — чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это богородские мужики сделали . . . да! . .

Русый парень с удивлением взглянул на Фому и спросил:

— Волгу, что ли, нам выпить? — А потом фыркнул, покачал головой и заявил: — Не сможем мы этого, — полопаемся все! . .

Фома сконфузился от его слов и посмотрел вокруг себя: мужики улыбались хмуро, пренебрежительно. Эти улыбки кололи его, как иглы.

Какой-то серьезный мужик с большой сивой бородой, до этой поры не открывавший рта, вдруг открыл его, подвинулся к Фоме и медленно выговорил:

— А ежели нам и Волгу досуха выпить, да еще вот этой горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Все забудется, — жизнь то длинна . . . Таких делов, чтобы высоко торчали — не нам делать . . .

Сказал и, сплюнув под ноги себе, равнодушно отошел от Фомы, войдя в толпу, как клин в дерево. Его речь окончательно пришибла Фому; он чувствовал, что мужики считают его глупым и смешным. И чтобы спасти свое хозяйское значение в их глазах, чтобы снова привлечь к себе уже утомленное внимание мужиков, он напыжился, смешно надул щеки и внушительным голосом бухнул:

— Жертвую, — на три ведра!

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное впечатление. Мужики почтительно расступились перед Фомой, низко кланяясь ему и с веселыми, благодарными улыбками благодаря его за щедрость дружным, одобрительным гулом.

— Перемахните-ка меня на берег, — сказал Фома, чувствуя, что вновь возникающее возбуждение не долго продержится в нем. Какой-то червь сосал его сердце.

— Тошно мне! — сказал он, придя в избу, где Саша, в нарядном красном платье, хлопотала около стола, расставляя на нем вина и закуски. — Александра! Хоть бы ты что-нибудь сделала со мной, что ли . . . а?

Она внимательно посмотрела на него и, севши на лавку плечом к плечу с ним, сказала:

— Коли тошно — значит, хочется чего-нибудь . . . Чего тебе надо?

— Не знаю я! — грустно качнув головой, ответил Фома.

— А ты подумай . . .

— Не умею я думать . . .

— Эх ты, дитятко! — тихо и пренебрежительно сказала Саша, отодвигаясь от него. — Лишняя тебе голова-то . . .

Фома не уловил ее тона, не заметил движения. Упираясь руками в лавку, он наклонился вперед, смотрел в пол, и говорил, качаясь всем корпусом:

— Иной раз думаешь, думаешь . . . всю тебе душу, мысли, как смолой, облепят . . . И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то . . . В душе тогда — как в погребе темно. Даже страшно . . . как будто ты не человек, а овраг бездонный . . .

Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво запела:

— Эх и дунет ветер—туман со́ моря пойдет . . .

— Кутить я не хочу . . . Все одно и то же: и люди, и забавы, и вино . . . Злой я становлюсь — так бы всех и бил . . . Не нравятся мне люди . . . Никак не поймешь — зачем живут?

— Ой, — и тошно без тебя мне милый, жить . . .

— пела Саша, глядя в стену пред собой.

А Фома все качался и говорил:

— Однако — все живут, шумят, а я только глазами хло-

паю . . . Мать, что ли, меня бесчувственностью наградила? Крестный говорит — она, как лед, была . . . И все ее тянуло куда-то . . . Пошел бы к людям и сказал: братцы, помогите! Жить не могу! Оглянешься — некому сказать . . . Все — сволочи!

Фома крепко, неприлично выругался и умолк. Саша оборвав песню, отодвинулась еще дальше от него. Бушевал ветер, бросая пыль в стекла окон. На печи тараканы шуршали, ползая в лучине. На дворе жалобно мычал теленок.

Саша с усмешкой взглянула на Фому и сказала:

— Вон еще один несчастненький мычит . . . Шел бы ты к нему; может, споетесь . . . — И, положив руку на его кудрявую голову, она шутливо толкнула ее. — Чего ты скрипишь? Гулять тошно — делом займись . . .

— Господи, — качнул головой Фома, — трудно говорить так, чтобы понимали тебя . . . трудно! — И с раздражением он почти закричал: — Какое дело? Что оно, дело? Только звание одно — дело, а так ежели вглубь, в корень посмотреть — бестолочь! Какой прок в делах? Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой . . . Обман один, дела эти все . . . Вижу я дельцов — ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было . . . Прячутся, дьяволы . . . Ну-ка освободи их от суеты этой, — что будет? Как слепые начнут соваться туда и сюда . . . с ума посходят! Ты думаешь, есть дело — так будет от него человеку счастье? Нет, врешь! — Тут — не все еще! . . Река течет, чтобы по ней ездили, дерево растет для пользы, собака — дом стережет . . . всему на свете можно найти оправдание! А люди — как тараканы — совсем лишние на земле . . . Все для них, а они для чего? В чем их оправдание?

Фома торжествовал. Ему показалось, что он нашел что-то хорошее для себя и сильное против людей. Он громко смеялся.

— Голова у тебя не болит? — заботливо спросила Саша, испытующим взглядом глядя в лицо ему.

— Душа у меня болит! — азартно воскликнул Фома. — И оттого болит, что — не мирится! Давай ей ответ, как жить? Для чего? Вот — крестный — он с умом! Он говорит — жизнь делай! А все говорят: заела нас жизнь!

— Слушай! — серьезно сказала Саша. — По-моему, надо тебе жениться — вот и все!

— Зачем? — передернув плечами, спросил Фома.

— Хомут тебе надо . . .

— Ладно! Живу с тобой . . . Чай, ведь все вы одинаковы? Одна другой не слаще . . . До тебя была у меня одна, — из таких же. Нет, та по своей охоте . . . понравился я ей, она и . . . Хорошая была . . . а, впрочем, — все одно, то же самое, совсем как у тебя, хоша ты ее краше . . . Но — барыня одна приглянулась мне . . . настоящая барыня, дворянка! Говорили, гуляет . . . До нее не достиг . . . Н-да-а . . . Умная, образованная, в красоте жила . . . Я, бывало, думал — вот где отведаю настоящего-то! Не достиг . . . Может, если бы удалось, — другой бы оборот все приняло . . . Тянуло меня к ней . . . А теперь вот — залил ее вином — забываю . . . И это не хорошо . . . Эх ты, человек! Подлец ты, если по совести сказать . . .

Фома замолчал, задумался. А Саша встала со скамьи и прошлась по избе, покусывая губы. Потом остановилась против него и, закинув руки на голову, сказала:

— Знаешь что? Уйду я от тебя . . .

— Куда? — спросил Фома, не поднимая головы.

— Не знаю . . . все равно! Лишнее ты говоришь . . . Скучно с тобой . . .

Фома поднял голову, взглянул на нее и уныло засмеялся:

— Ну-у? Неужто?

— Я тоже из таких . . . тоже — придет мое время, — задумаюсь . . . И тогда пропаду . . . Но теперь мне еще рано . . . Нет, я еще поживу . . . а потом уж — будь, что будет!

— А я — тоже пропаду? — равнодушно спросил Фома, уже утомленный своими речами.

— А как же! — спокойно и уверенно ответила Саша. — Такие люди пропадают . . .

Они с минуту молчали, глядя в глаза друг другу.

— Что же будем делать? — спросил Фома.

— Обедать надо.

— Нет вообще? Потом?

— Н-не знаю . . .

— Так уходишь ты?

— Уйду . . . Давай еще покутим на прощанье! Поедем в

Казань, да там — с дымом, с полымем — и кутнем. Отпою я тебя . . .

— Это можно! — согласился Фома. — На прощанье — следует! . . Эх ты . . . дьявол! Житье! Слушай, Сашка, про вас, гулящих, говорят, что вы до денег жадные и даже воровки . . .

— Пускай говорят . . . — спокойно сказала Саша.

— Разве тебе не обидно это? — с любопытством спросил Фома. — Вот ты — не жадная, — выгодно тебе со мной, богатый я, а ты — уходишь . . . Значит — не жадная . . .

— Я-то? — Саша подумала и сказала, махнув рукой: — Может, и не жадная — что в том? Я ведь еще не совсем . . . низкая, не такая, что по улицам ходят . . . А обижаться — на кого? Пускай говорят, что хотят . . . Люди же скажут, а мне людская святость хорошо известна! Выбрали бы меня в судьи — только мертвого оправдала бы! . . — И засмеявшись нехорошим смехом, Саша сказала: — Ну, будет пустяки говорить . . . садись за стол! . .

. . . На другой день утром Фома и Саша стояли рядом на трапе парохода, подходившего к пристани на Устье. Огромная черная шляпа Саши привлекала общее внимание публики ухарски изогнутыми полями и белыми перьями, Фоме было неловко стоять рядом с ней и чувствовать, как по его смущенному лицу ползают любопытные взгляды. Пароход шипел и вздрагивал, подваливая бортом к конторке, усеянной ярко одетой толпой народа, и Фоме казалось, что он видит среди разнообразных лиц и фигур кого-то знакомого, кто как будто все прячется за спины других, но не сводит с него глаз.

— Пойдем в каюту! — беспокойно сказал он своей подруге.

— А ты не учись грехи от людей прятать, — усмехаясь, ответила Саша. — Знакомого, что ли, увидал?

— Кто-то караулит меня . . .

Всмотревшись в толпу на пристани, он изменился в лице и тихо добавил:

— Это крестный . . .

У борта пристани, втиснувшись между двух грузных женщин, стоял Яков Маякин и с ехидной вежливостью помахивал в воздухе картузом, подняв кверху иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лысина блестела, и глазки сверлили Фому, как буравчики.

— Н-ну, ястреб! — пробормотал Фома, тоже сняв картуз и кивая головой крестному.

Его поклон доставил Маякину, должно быть, большое удовольствие, — старик как-то весь извился, затопал ногами, и лицо его осветилось ядовитой улыбкой.

— Видно, будет мальчику на орешки! — подзадоривала Саша.

Ее слова вместе с улыбкой крестного точно угли в груди Фомы разожгли.

— Поглядим, что будет . . . — сквозь зубы сказал он, и вдруг оцепенел в злом спокойствии. Пароход пристал, люди хлынули волной на пристань. Затертый толпою Маякин на минуту скрылся из глаз и снова вынырнул, улыбаясь торжествующей улыбкой. Фома, сдвинув брови, в упор смотрел на него и подвигался навстречу ему, медленно шагая по мосткам. Его толкали в спину, навалились на него, теснили, — все это еще более возбуждало. Вот он столкнулся со стариком, и тот встретил его вежливеньким поклоном и вопросом:

— Куда изволите путешествовать, Фома Игнатьич?

— По своим делам, — твердо ответил Фома, не здороваясь с крестным.

— Похвально, сударь мой! — весь просияв сказал Яков Тарасович. — Барынька-то с перьями как вам приходится?

— Любовница, — громко сказал Фома, не опуская глаз под острым взглядом крестного.

Саша стояла сзади него и из-за плеча спокойно разглядывала маленького старичка, голова которого была ниже подбородка Фомы. Публика, привлеченная громким словом Фомы, посматривала на них, чуя скандал. Маякин, тотчас же почуяв возможность скандала, сразу и верно определил боевое настроение крестника. Он поиграл морщинами, пожевал губами и мирно сказал Фоме:

— Надо мне с тобой побеседовать . . . В гостиницу пойдем?

— Могу . . . не надолго . . .

— Некогда, значит? Видно еще баржу разбить торопишься? — не стерпев, сказал старик.

— А что ж их не бить, если бьются? — задорно, но твердо возразил Фома.

— А, конечно! . . Не ты наживал — тебе ли жалеть? Ну,

пойдем . . . Да нельзя ли барыньку-то . . . хоть утопить на время? — тихо сказал Маякин.

— Поезжай, Саша, в город, возьми номер в Сибирском подворье, — я скоро приеду! — сказал Фома, и, обратясь к Маякину, с удальством об'явил:

— Готов! . .

До гостиницы оба шли молча. Фома, видя, что крестный, чтоб не отстать от него, подпрыгивает на ходу, нарочно шагал шире, и то, что старик не может итти в ногу с ним, поддерживало и усиливало в нем буйное чувство протеста, которое он и теперь уже едва сдерживал в себе.

— Человечек! — ласково сказал Маякин, придя в зал гостиницы и направляясь в отдаленный угол. — Подай-ка мне клюквенного квасу бутылочку . . .

— А мне — коньяку, — приказал Фома.

— Во-от . . . При плохих картах всегда с козыря ходи! — насмешливо посоветовал ему Маякин.

— Вы моей игры не знаете! — сказал Фома, усаживаясь за стол.

— Полно-ка! Многие так играют.

— Я так играю, что — или башка вздребезги, или стена пополам! — горячо сказал Фома и пристукнул кулаком по столу . . .

— Не опохмелялся еще нынче? — спросил Маякин с улыбочкой.

Фома сел на стуле плотнее и с лицом искаженным заговорил:

— Папаша крестный! . . Вы умный человек . . . я уважаю вас за ум . . .

— Спасибо, сынок! — поклонился Маякин, привстав и опершись руками о стол.

— Я хочу сказать, что мне уже не двадцать лет . . . Я не маленький.

— Еще бы-те! — согласился Маякин. — Не мал век ты прожил, что и говорить! Кабы комар столько время жил — с курицу бы вырос . . .

— Погоди шутки шутить! . . — предупредил Фома, и сделал это так спокойно, что Маякина даже повело всего, и морщины на его лице тревожно задрожали.

— Вы зачем сюда приехали? — спросил Фома.

— А . . . набезобразил ты тут . . . так я хочу посмотреть — много ли? Я, видишь ли, родственником тебе довожусь . . . и один я у тебя . . .

— Напрасно вы беспокоитесь . . . Вот что, папаша . . . Или вы дайте мне полную волю, или все мое дело берите в свои руки, — все берите! Все, до рубля!

Это вырвалось у Фомы совершенно неожиданно для него; раньше он никогда не думал ничего подобного. Но теперь, сказав крестному эти слова, он вдруг понял, что если б крестный взял у него имущество — он стал бы совершенно свободным человеком, мог бы итти, куда хочется, делать, что угодно . . . До этой минуты он был опутан чем-то, но не знал своих пут, не умел сорвать их с себя, а теперь они сами спадают с него так легко и просто. В груди его вспыхнула тревожная и радостная надежда, он бессвязно бормотал:

— Это всего лучше! Возьмите все и — шабаш! А я — на все четыре стороны! . . Я этак жить не могу . . . Точно гири на меня навешаны . . . Я хочу жить свободно . . . чтобы самому все знать . . . я буду искать жизнь себе . . . А то — что я? Арестант . . . Вы возьмите все это . . . к чорту все! Какой я купец? Не люблю я ничего . . . А так — ушел бы я от людей . . . работу какую-нибудь работал бы . . . А то вот — пью я . . . с бабой связался . . .

Маякин смотрел на него, внимательно слушал, и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменело. Над ними носился трактирный, глухой шум, проходили мимо них какие-то люди, Маякину кланялись, но он ничего не видал, упорно разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбавшееся растерянно, радостно и в то же время жалобно . . .

— Э-эх, ежевика ты моя, кисла ягода! — вздохнув, сказал он, перебивая речь Фомы. — Заплутался ты. Плетешь — несуразное . . . Надо понять — с коньяку ты это или с глупости?

— Папаша! — воскликнул Фома. — Ведь было так . . . бросали все имение люди!

— Не при мне было . . . Не близкие мне люди! — сказал Маякин строго. — А то бы я им — показал!

— Многие угодниками стали, как ушли . . .

— Мм . . . У меня не ушли бы! . . И зачем я с тобой серьезно говорю? Тьфу! . .

— Папаша! Почему вы не хотите? — с сердцем воскликнул Фома.

— Ты слушай! Если ты трубочист — лезь, сукин сын, на крышу! . . Пожарный — стой на каланче! И всякий род человека должен иметь свой порядок жизни . . . Телятам же — по медвежьи не реветь! Живешь ты своей жизнью и — живи! И не лопочи, не лезь, куда не надо! Делай жизнь свою — в своем роде!

Из темных уст старика забила трепетной, блестящей струей знакомая Фоме уверенная, бойкая речь. Он не слушал, охваченный думой о свободе, которая казалась ему так просто возможной. Эта дума впилась ему в мозг, и в груди его все крепло желание порвать связь свою с мутной и скучной жизнью, с крестным, пароходами, кутежами, — со всем, среди чего ему было душно жить.

Речь старика долетала до него как бы издали: она сливалась со звоном посуды, с шарканьем ног лакеев по полу, с чьим-то пьяным криком.

— И вся эта чепуха в башке у тебя завелась — от молодой твоей ярости! — говорил Маякин, постукивая рукой по столу. — Удальство твое — глупость; все речи твои — ерунда . . . Не в монастырь ли пойти тебе?

Фома слушал и молчал. Шум, кипевший вокруг него, как будто уходил куда-то все дальше. Он представлял себя в средине огромной, суетливой толпы людей, которые неизвестно для чего мятутся, лезут друг на друга, глаза у них жадно вытаращены, люди орут, падают, давят друг друга, все толкутся на одном месте. Ему оттого плохо среди них, что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова. И если вырваться из средины их на свободу, на край жизни, да оттуда посмотреть на них — тогда все поймешь и увидишь, где среди них твое место.

— Я ведь понимаю, — уже мягче говорил Маякин, видя Фому задумавшимся, — хочешь ты счастья себе . . . Ну, оно скоро не дается . . . Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо над ним спину поломать . . . да и найдя, — гляди — не поганка ли?

— Так освободите вы меня? — вдруг подняв голову, спросил Фома, и Маякин отвел глаза в сторону от его горящего взгляда.

— Дайте вздохнуть . . . дайте мне в сторону отойти от всего! Я присмотрюсь, как все происходит . . . и тогда уж . . . А так — сопьюсь я . . .

— Не говори пустяков! Что юродствуешь? — сердито крикнул Маякин.

— Ну, — хорошо! — спокойно ответил Фома. — Не хотите вы этого? Так — ничего не будет! Все спущу! И больше нам говорить не о чем, — прощайте! Примусь я теперь за дело! Дым пойдет! . .

Фома был спокоен, говорил уверенно; ему казалось, что коли он так решил — не сможет крестный помешать ему. Но Маякин выпрямился на стуле и сказал — тоже просто и спокойно:

— А знаешь ты, как я могу с тобой поступить?

— Как хотите! — махнув рукой, сказал Фома.

— Вот. Теперь я так хочу — приеду в город и буду хлопотать, чтобы признали тебя умалишенным и посадили в сумасшедший дом . . .

— Разве это можно? — недоверчиво, но уже с испугом в голосе спросил Фома . . .

— У нас, друг милый, все можно!

Фома опустил голову и, исподлобья посмотрев в лицо крестного, вздрогнул, думая:

«Посадит . . . не пожалеет» . . .

— Если ты серьезно дуришь — я тоже должен серьезно поступать с тобой . . . Я отцу твоему дал слово — поставить тебя на ноги . . . И я тебя поставлю! Не будешь стоять — в железо закую . . . Тогда устоишь . . . Я знаю — все это у тебя с перепою . . . Но ежели ты отцом нажитое озорства ради губить будешь — я тебя с головой накрою . . . Колокол солью над тобой . . . Шутить со мной очень неудобно!

Морщины на щеках Маякин поднялись кверху, глазки улыбались из темных мешков насмешливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили какой-то странный узор, поднимаясь до лысины. Непреклонно и безжалостно было его лицо.

— Стало быть, — нет мне ходу? — угрюмо спросил Фома. — Запираете вы мне пути?

— Ход есть — иди! А я тебя направлю . . . Как раз на свое место придешь . . .

Эта самоуверенность, эта непоколебимая хвастливость взо-

рвали Фому. Засунув руки в карманы, чтобы не ударить старика, он выпрямился на стуле и в упор заговорил, стиснув зубы:

— Что вы все хвалитесь? Чем тебе хвалиться? Сын-то твой — где? Дочь-то твоя — что такое? Эх ты . . . устроитель жизни! Ну, — умен ты, — все знаешь: скажи — зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?

Морщины Маякина дрогнули и опустились книзу, отчего лицо его приняло болезненное, плачущее выражение. Он открыл рот, но ничего не сказал, глядя на крестника с удивлением, чуть ли не с боязнью.

— Молчать, щенок! — тихо сказал он.

Фома встал со стула, кинул картуз на голову себе и с ненавистью оглядел старика.

— Кутить буду! Все прокучу! . .

— Ладно, — увидим! . .

— Прощай! Герой! — усмехнулся Фома.

— До скорого свиданья! — сказал Маякин тихо и, как будто, задыхаясь.

Яков Маякин остался в трактире один. Он сидел за столом и, наклонясь над ним, рисовал на подносе узоры, макая дрожащий палец в пролитый квас. Острая голова его опускалась все ниже над столом, как будто он не мог понять того, что чертил на подносе его сухой палец.

На лысине у него блестели капли пота и, по обыкновению, морщины на щеках вздрагивали частой, тревожной дрожью . . .

Поманив кивком головы полового, Яков Тарасович спросил его особенно внушительно:

— Что с меня следует?

X.

До ссоры с Маякиным Фома кутил от скуки, полуравнодушно, — теперь он загулял с озлоблением, почти с отчаянием, полный мстительного чувства и какой-то дерзости в отношении к людям, — дерзости, порою удивлявшей и его самого. Он видел, что люди, окружавшие его, трезвы, несчастны и глупы, пьяные — противны и еще более глупы. Никто из них не возбуждал в нем интереса; он даже не спрашивал их имен, забывал, когда

и где знакомился с ними, и всегда чувствовал желание сказать и сделать что-нибудь обидное для них. В дорогих, шикарных ресторанах его окружали какие-то проходимцы, куплетисты, фокусники, актеры, разорившиеся на кутежах помещики. Эти люди сначала относились к нему покровительственно, хвастая пред ним тонкими вкусами, знанием вин и кушаний, потом подлизывались к нему, занимали деньги, которые он уже занимал под векселя. В дешевых трактирах около него вились ястребами парикмахеры, маркеры, какие-то чиновники, певчие, среди этих людей он чувствовал себя лучше, свободнее, — они были менее развратны, проще понимались им, порою они проявляли здоровые, сильные чувства и всегда в них было больше чего-то человеческого. Но, как и «чистая публика», — эти тоже были жадны до денег и нахально обирали его, а он видел это и грубо издевался над ними.

Разумеется — были женщины. Физически здоровый Фома покупал их дорогих и дешевых, красивых и дурных, дарил им большие деньги, менял их чуть не каждую неделю, и в общем — относился к ним лучше, чем к мужчинам. Он смеялся над ними, говорил им зазорные и обидные слова, но никогда, даже полупьяный, не мог избавиться от какого-то стеснения пред ними. Все они — самые нахальные, и бесстыдные — казались ему беззащитными, как малые дети. Всегда готовый избить любого мужчину, он никогда не трогал женщин, хотя, порой, безобразно ругал их, раздраженный чем либо. Он чувствовал себя неизмеримо сильнейшим женщины, женщина казалась ему неизмеримо несчастнее его. Те, которые развратничали с удальством, хвастаясь своей распущенностью, вызывали у Фомы стыдливое чувство, от которого он становился робким и неловким. Однажды одна из таких женщин, пьяная и озорная, во время ужина, сидя рядом с ним, ударила его по щеке коркой дыни. Фома был полупьян. Он побледнел от оскорбления, встал со стула и, сунув руки в карманы, свирепым, дрожащим от обиды голосом сказал:

— Ты, стерва! Пошла прочь! Другой бы тебе за это голову расколол . . . А ты знаешь, что я смирен с вами и не поднимается рука у меня на вашу сестру . . . Выгоните ее к чорту!

Саша через несколько дней по приезде в Казань поступила на содержание к сыну какого-то водочного заводчика, кутив-

шему вместе с Фомой. Уезжая с новым хозяином куда-то на Каму, она сказала Фоме:

— Прощай, милый человек! Может, встретимся еще, — одна у нас дорога! А сердцу воли, советую, не давай . . . Гуляй себе без оглядки, а там — кашку слопал — чашку о пол . . . Прощай!

Она крепко поцеловала его в губы, причем глаза ее стали еще темнее.

Фома был рад, что она уезжает от него: надоела она ему и пугало его ее холодное равнодушие. Но тут в нем что-то дрогнуло, он отвернулся в сторону от нее и тихо молвил:

— Может, — не уживешься . . . тогда опять ко мне приезжай! . .

— Спасибо, — ответила она ему и почему-то засмеялась необычным для нее, хрипящим смехом . . .

Так жил Фома день за днем, лелея смутную надежду отойти куда-то на край жизни, вон из этой сутолоки. Ночами, оставаясь один-на-один с собой, он, крепко закрыв глаза, представлял себе темную толпу людей, страшную огромностью своей. Столпившись где-то в котловине, полной пыльного тумана, эта толпа, в шумном смятении кружилась на одном месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жернов, скрытый под ногами ее, молол ее, и люди волнообразно двигались под ним, не то стремясь вниз, чтоб скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жернова.

Фома видел среди толпы знакомые ему лица: вот отец ломит куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всех на пути своем; прет на все грудью и громогласно хохочет . . . и исчезает, проваливаясь под ноги людей. Вот, извиваясь ужом, то прыгая на плечи, то проскальзывая между ног людей, работает всем своим сухим, но гибким и жилистым телом крестный . . . Любовь кричит и бьется, следуя за отцом, то отставая от него, то снова приближаясь. Пелагея быстро и прямо идет куда-то . . . Вот Софья Павловна стоит, бессильно опустив руки, как стояла она тогда, последний раз — у себя в гостиной . . . Глаза у нее большие, и страх светится в них. Саша, равнодушная, не обращая внимания на толчки, идет прямо в самую гущу, спокойно глядя на все темными глазами. Шум, вой, смех, пьяные

крики, азартный спор слышит Фома; песни и плач носятся над огромной, суетливой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи один другому, суются, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носясь, как летучие мыши над головами людей, и люди жадно простирают к ним руки, брякает золото и серебро, звенят бутылки, хлопают пробки, кто-то рыдает, и тоскливый женский голос воет:

— Так будем любить, пока можно-о, —
А там—хоть тра-ава не расти!

Эта картина укрепилась в голове Фомы и каждый раз все более яркая, огромная и живая возникала пред ним, возбуждая в груди его непреодолимое чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба и еще многое. Все это вскипало в груди до напряженного желания, — от силы которого он задыхался, на глазах его являлись слезы, и ему хотелось кричать, выть зверем, испугать всех людей — остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету жизни что-то свое, сказать какие-то громкие, твердые слова, направить их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывать друг от друга, избивать одних, других же приласкать, укорять всех, осветить их каким-то огнем . . .

Ничего в нем не было — ни нужных слов, ни огня, было в нем только желание, понятное ему, но невыполнимое . . . Он представлял себя вне котловины, в которой кипят люди; он видел себя твердо стоящим на ногах и — немым. Он мог бы крикнуть людям:

— Как живете? Не стыдно ли?

Но если они, услыхав его голос, спросят:

— А — как надо жить?

Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям, к жернову. И смехом проводили бы его гибель.

Порой ему казалось, что он сходит с ума от пьянства, — вот почему лезет ему в голову это, страшное. Усилием воли он гасил эту картину, но лишь только оставался один и был не очень пьян — снова наполнялся бредом, вновь изнемогал под

тяжестью его. Желание свободы все росло и крепло в нем. Но вырваться из пут своего богатства он не мог.

Маякин, имевший от него полную доверенность на управление делом, действовал так, что Фоме чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащих на нем обязанностей. К нему то-и-дело обращались за платежами, предлагали ему сделки по перевозке грузов, служащие обращались с такими мелочами, которые раньше не касались его, выполняемые ими на свой страх. Его отыскивали в трактирах, расспрашивали его о том, как и что нужно делать; он говорил им, порой совсем не понимая, так это нужно делать или иначе, замечал их скрытое пренебрежение к нему и почти всегда видел, что они делают дело не так, как он приказал, а иначе и лучше. В этом он чувствовал ловкую руку крестного и понимал, что старик теснит его затем, чтоб поворотить на свой путь. И в то же время замечал, что он — не господин в своем деле, а лишь составная часть его, часть не важная. Это раздражало и еще дальше отталкивало от старика, еще сильнее возбуждало его стремление вырваться из дела, хотя бы ценой его погибели. Он с яростью разбрасывал деньги по трактирам и притонам, но это продолжалось не долго — Яков Тарасович закрыл в банках текущие счета, выбрав все вклады. Вскоре Фома почувствовал, что и под векселя дают ему уже не так охотно, как сначала давали. Это задело его самолюбие и совсем возмутило, испугало его, когда он узнал, что крестный пустил в торговый мир слух о том, что он, Фома, — не в своем уме и что над ним, может быть, придется учредить опеку. Фома не знал пределов власти крестного и не решался посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу: он был уверен, что в торговом мире старик — сила и может сделать все, что захочет. Сначала ему было жутко чувствовать над собой руку Маякина, но потом он помирился с этим и продолжал свою бесшабашную, пьяную жизнь, в которой только одно утешало его — люди. С каждым днем он все больше убеждался, что они — бессмысленнее и всячески хуже его, что они — не господа жизни, а лакеи ее, и что она вертит ими, как хочет, гнет и ломает их, как ей угодно.

Так он и жил — как будто шел по болоту, с опасностью на каждом шагу увязнуть в грязи и тине, а его крестный — вью-

ном вился на сухоньком и твердом местечке, зорко следя издали за жизнью крестника.

После ссоры с Фомой Маякин вернулся к себе угрюмо-задумчивым. Глазки его блестели сухо, и весь он выпрямился, как туго натянутая струна. Морщины болезненно с'ёжились, лицо как будто стало еще меньше и темней, и когда Любовь увидала его таким — ей показалось, что он серьезно болен. Молчаливый старик нервно метался по комнате, бросая дочери в ответ на ее вопросы сухие, краткие слова, и, наконец, прямо крикнул ей:

— Отстань! Не до тебя . . .

Ей стало жалко его, когда она увидала, как тоскливо и уныло смотрят острые, зеленые глаза; и, когда он сел за обеденный стол, порывисто подошла к нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая в лицо, ласково и тревожно спросила:

— Папаша! Вам нездоровится — скажите!

Ее ласки были крайне редки; они всегда смягчали одинокого старика, и хотя он не отвечал на них почему-то, но — все ж таки ценил их. И теперь, передернув плечами и сбросив с них ее руки, он сказал ей:

— Иди, иди на свое место . . . Ишь разбирает тебя Евин зуд . . .

Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая в глаза его, она с обидой в голосе спросила:

— Почему вы, папаша, всегда так говорите со мной, — точно я маленькая или очень глупая?

— Потому что ты большая, а не очень умная . . . Н-да! Вот-те и весь сказ! Иди, садись и ешь . . .

Она отошла и молча села против отца, обиженно поджав губы. Маякин ел против обыкновения медленно, подолгу шевыряя ложкой в тарелке щей и упорно рассматривая их.

— Кабы засоренный ум твой мог понять отцовы мысли! — вдруг сказал он, вздыхая с каким-то свистом.

Любовь отбросила в сторону свою ложку и чуть не со слезами в голосе заговорила:

— Зачем обижать меня, папаша? Ведь видите вы — одна я! всегда одна! Ведь понятно вам, как тяжело мне жить — а никогда вы слова ласкового не скажете мне . . . И вы ведь одиноки, и вам тяжело . . .

— Вот и Валаамова ослица заговорила! — усмехнувшись, сказал старик. — Н-ну? Что же дальше будет?

— Горды вы очень, папаша, вашим умом . . .

— А еще что?

— Это не хорошо! . . Зачем вы меня отталкиваете? Ведь у меня никого нет кроме вас . . .

У нее на глазах появились слезы: отец заметил их, и лицо его вздрогнуло.

— Кабы ты не девка была! — воскликнул он. — Кабы у тебя ум был, как . . . у Марфы Посадницы, примерно, — эх, Любовь! Наплевал бы я на всех . . . на Фомку . . . Ну, не реви!

Она вытерла глаза и спросила:

— Что же Фома?

— Бунтует . . . Ха-ха! Говорит: возьмите у меня все имущество, отпустите меня на волю . . . Спасаться хочет . . . в кабаках! . . Вот он что задумал, наш Фома . . .

— Что же это? . . — нерешительно спросила Любовь.

— Что это? — горячась и вздрагивая, заговорил Маякин. — А это у него или с перепою, или — не дай Бог! — материно староверческое . . . И если это кулугурская закваска в нем — много будет мне с ним бою! Он — грудью пошел против меня ... дерзость большую обнаружил . . . Молод, — хитрости нет в нем . . . Говорит: все пропью! Я те пропью!

Маякин поднял руку над головой и, сжав кулак, яростно погрозил им.

— Как смеешь? Кто нажил дело, кто его оборудовал? Ты? Отец твой . . . Сорок лет труда положено, а ты его разрушить хочешь? Мы все должны, где дружно стеной, где осторожно, гуськом, один за другим, итти к своему месту . . . Мы, купцы, торговые люди, веками Россию на своих плечах несли и теперь несем . . . Петр Великий был царь божеского ума — он нам цену знал! . . Как он нас поддерживал? Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу . . . Вон у меня его повелением напечатанная книга Полидора Виргилия Урбинского об изобретателях вещей . . . в 720 году печатана . . . да! Это надо понять! . . Он дал нам ход . . . А теперь — мы на своих ногах стоим . . . Ходу нам дайте! Мы фундамент жизни закладывали — сами в землю вместо кирпичей ложились, — теперь нам этажи надо строить . . . позвольте нам свободы

действий! Вот куда наш брат должен курс держать . . . Вот где задача! Фомка этого не понимает . . . Должен понять и — продолжать . . . У него отцовы средства . . . Я издохну — мои присоединятся: работай, щенок! А он колобродит. Нет, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!

Старик задыхался от возбуждения и сверкающими глазами смотрел на дочь так яростно, точно на ее месте Фома сидел. Любовь пугало его возбуждение.

— Проложен путь отцами — и ты должен итти по нем. Пятьдесят лет я работал — для чего? Дети мои! Где у меня дети?

Старик уныло опустил голову, голос его оборвался, и так глухо, точно он говорил куда-то внутрь себя, он сказал:

— Один — пропал . . . другой — пьяница! . . Дочь . . . Кому же я труд свой перед смертью сдам? . . Зять был бы . . . Я думал — перебродит Фомка, наточится, — отдам тебя ему и с тобой все — на! Фомка не годен . . . А другого на место его — не вижу . . . Какие люди пошли! . . Раньше железный был народ, а теперь — никакой прочности не имеют . . . Что это? Отчего?

Маякин с тревогой смотрел на дочь, она молчала.

— Скажи, — спросил он ее, — чего тебе надо? Как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала — что тебе нужно?

Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нее, она смутилась. Она и довольна была тем, что отец спрашивает ее об этом, и боялась отвечать ему, чтоб не уронить себя в его глазах. И вот, вся как-то подобравшись, точно собираясь прыгнуть через стол, она неуверенно и с дрожью в голосе сказала:

— Чтобы все были счастливы . . . и довольны . . . все люди — равны . . . свобода нужна всем . . . так же, как воздух . . . и во всем — равенство!

Отец со спокойным презрением сказал ей:

— Так я и знал: дура ты позлащенная!

Она поникла головой, но тотчас же вскинула ее и с тоской воскликнула:

— Вы же сами говорите: свобода . . .

— Молчи, уж! — грубо крикнул на нее старик. — Даже того не видишь, что из каждого человека явно наружу прет . . . Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет

выше другого быть? Даже нищий свою гордость имеет и пред другими чем-нибудь всегда хвастается . . . Мал ребенок — и тот хочет первым в товарищах быть . . . И никогда человек человеку не уступит — дураки только это думают . . . У каждого — душа своя, только тех, кто души своей не любит, можно обтесать под одну мерку . . . Эх ты! . . Начиталась, нажралась дряни . . .

Горький укор, ядовитое презрение выразились на лице старика. С шумом оттолкнув от стола свое кресло, он вскочил с него и, заложив руки за спину, мелкими шагами стал бегать по комнате, потряхивая головой и что-то говоря про себя злым, свистящим шопотом . . . Любовь, бледная от волнения и обиды, чувствуя себя глупой и беспомощной пред ним, вслушивалась в его шопот, и сердце ее трепетно билось.

Один остался . . . Как Иов . . . О, Господи! . . Что сделаю? Я ли — не умен? Я ли — не хитер?

Девушке стало до боли жалко старика; ее охватило страшное желание помочь ему; ей хотелось быть нужной для него.

Горячими глазами следя за ним, она вдруг сказала ему тихонько:

— Папаша . . . милый! Не тоскуйте . . . ведь еще Тарас жив . . . может быть, он . . .

Маякин вдруг остановился, как вкопанный, и медленно поднял голову.

— Молодым дерево покривилось, не выдержало, — в старости и подавно изломится . . . Ну, все-таки . . . и Тарас теперь мне соломина . . . Хоть едва ли цена его выше Фомы . . . Есть у Гордеева характерец . . . есть в нем отцово дерзновение . . . Много он может поднять на себе . . . А Тараска . . . это ты во-время вспомнила . . .

И старик, за минуту пред тем упавший духом до жалоб, в тоске метавшийся по комнате, как мышь в мышеловке, теперь, с озабоченным лицом, спокойно и твердо снова подошел к столу, тщательно уставил около него свое кресло и сел, говоря:

— Надо будет пощупать Тараску . . . в Усолье он живет, на заводе каком-то . . . Слышал я от купцов — соду, что ли, работают там . . . Узнаю подробно . . .

— Позвольте, я напишу ему, папаша? — вздрагивая от радости и вся красная, тихо попросила Любовь . . .

— Ты? — спросил Маякин, мельком взглянув на нее, потом помолчал, подумал и сказал:

— Можно! Это даже — лучше! Напиши . . . Спроси — не женат ли? Как, мол, живешь? Что думаешь? . . Да, я тебе скажу, что написать, когда придет время . . .

— Вы скорее, папаша! . . — сказала девушка.

— Скорее-то надо, вот, замуж тебя выдавать . . . Я тут присматриваюсь к одному, рыженькому, — парень как будто не дурак . . . Заграничной выделки, между прочим . . .

— Это Смолин, папаша? — с тревогой и любопытством спросила Любовь.

— А хоть бы и он — что же? — деловито осведомился Яков Тарасович

— Ничего . . . Я его не знаю . . . — неопределенно ответила Любовь.

— Познакомим . . . Пора, Любовь, пора! На Фому надежда плоха . . . хоть я и не отступлюсь от него . . .

— Я на Фому не рассчитывала . . .

— Это ты напрасно . . . Кабы умнее была — может, он бы не свихнулся! . . Я, бывало, видя вас вдвоем, думал: прикормит девка моя парня к себе! Ан — прогадал . . .

Она задумалась, слушая его внушительную речь. За последнее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила в голову мысль о замужестве, — иного выхода из своего одиночества она не видела. Желание бросить отца и уехать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать — она давно уже пережила, как пережила одиноко в себе много других желаний столь же не глубоких. От разнообразных книг, прочитанных ею, в ней остался мутный осадок, и хотя это было нечто живое, но живое, как протоплазма. Из этого осадка в девушке развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремление к личной независимости, желание освободиться от тяжелой опеки отца, — но не было ни сил осуществить эти желания, ни представления о том, как осуществляются они. А природа внушала свое, и девушка при виде молодых матерей с детьми на руках, чувствовала тоскливое и обидное. Порою, останавливаясь перед зеркалом, она с грустью рассматривала полное, свежее лицо с темными кругами около глаз, и ей становилось жаль себя: жизнь обходит, забывает ее в стороне где-то.

Теперь, слушая речь отца, она представляла себе — каким может быть этот Смолин? Она встречала его еще гимназистом, он тогда был весь в веснушках, курносый, чистенький, степенный и скучный. Танцовал он тяжело и неуклюже, говорил неинтересно . . . С той поры прошло много времени: он был за границей, учился там чему-то, — каков он теперь? — От Смолина мысль ее перескочила к брату, и она с замиранием сердца подумала: что-то он ответит ей на письмо? Каков он? Образ брата, каким она представляла его себе, заслонил пред ней и отца, и Смолина, и она уже говорила себе, что до встречи с Тарасом ни за что не согласится выйти замуж, как вдруг отец крикнул ей:

— Эй, Любавка! Что задумалась? Над чем больше?

— Так, — быстро все идет . . . — улыбнувшись, ответила Люба.

— Что — быстро?

— Да все . . . неделю тому назад говорить с вами о Тарасе нельзя было, а теперь вот . . .

— Нужда, девка! Нужда — сила, стальной прут в пружину гнет, а — сталь упориста! Тарас? Поглядим! Человек ценен по сопротивлению своему силе жизни, — ежели не она его, а он ее на свой лад крутит, — мое ему почтение! Э-эх, стар я! А жизнь-то теперь куда как бойка стала! Интересу в ней — с каждым годом все прибавляется, — все больше смаку в ней! Так бы и жил все, так бы все и действовал ! . .

Старик вкусно почмокивал губами, потирал руки, и глазки его жадно поблескивали.

— А вы вот — жидкой крови людишки! Еще не выросли, а уж себя переросли и дряблые живете, как старая редька . . . И то, что жизнь все краше становится, — недоступно вам . . . Я шестьдесят семь лет на сей земле живу и уже вот у гроба своего стою, но вижу: в старину, когда я молод был, и цветов на земле меньше было, и не столь красивые цветы были . . . Все украшается! Здания какие пошли! Орудие разное, торговое . . . Пароходищи! Ума во все бездна вложено! Смотришь — думаешь: ай да люди, молодцы! Все хорошо, все приятно, — только вы, наследники наши, — всякого живого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишка из мещан и то бойчее вас . . . Вон этот . . . Ежов-то — что он такое? А изображает

собою судью даже надо всей жизнью — одарен смелостью! А вы — тьфу! Нищими живете . . . Содрать бы с вас шкуры, да посыпать по живому мясу солью — запрыгали бы!

Яков Тарасович, маленький, сморщенный и костлявый, с черными обломками зубов во рту, лысый и темный, как будто опаленный жаром жизни, и прокоптевший в нем, весь трепетал в пылком возбуждении, осыпая дребезжащими, презрительными словами свою дочь — молодую, рослую и полную. Она смотрела на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и в сердце ее росло уважение к живому и стойкому в своих желаниях старику . . .

А Фома все кутил и колобродил. В одном из дорогих ресторанов города он попал в приятельски-радостные об'ятия сына водочного заводчика, который взял на содержание Сашу.

— Вот это встреча! А я здесь третий день проедаюсь в тяжком одиночестве . . . Во всем городе нет ни одного порядочного человека, так что я даже с газетчиками вчера познакомился . . . Ничего, народ веселый . . . сначала играли аристократов и все фыркали на меня, но потом все вдребезги напились . . . Я вас познакомлю с ними . . . Тут один есть фельетонист, — этот, который вас тогда возвеличил . . . как его? Увеселительный малый, чорт его дери!

— А что Александра? — спросил Фома, немного оглушенный громкой речью этого высокого, развязного парня в пестром костюме.

— Н-ну, знаете, — поморщился тот, — эта ваша Александра — дрянь женщина! Какая-то — темная . . . скучно с ней, чорт ее возьми! Холодная, как лягушка, брр! Нет, я ей дам отставку...

— Холодная — это верно, — сказал Фома и задумался.

— Каждый человек должен делать свое дело самым лучшим образом! — поучительно сказал сын водочного заводчика. — И если ты поступаешь на содержание, так тоже должна исполнять свою обязанность как нельзя лучше, — коли ты порядочная женщина . . . Ну-с, водки выпьем?

Выпили. И, разумеется, напились.

К вечеру в гостинице собралась большая и шумная компания, и Фома, пьяный, но грустный и тихий, говорил заплетающимся языком:

— Я так понимаю: одни люди — черви, другие — воробьи... Воробьи — это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они — нужны... А я и все вы — ни к чему... Мы живем без оправдания... Совсем не нужно нас... Но и те... и все — для чего? Это надо понять... Братцы!.. На что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтобы я умер... Хочу, чтобы я умер...

Он плакал обильными, пьяными слезами. К нему подсел какой-то маленький черный человечек, о чем-то напоминал ему, лез целоваться с ним и кричал, стуча ножом по столу:

— Молчать! Слово сырью! Дайте слово слонам и мамонтам неустройства жизни! Говорит святые речи сырая русская совесть! Рычи, Гордеев! Рычи на все!..

И он снова цеплялся за плечи Фомы и лез на грудь к нему, поднимая к его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, неустанно вертевшуюся на его плечах во все стороны, так что Фома не мог рассмотреть его лица, сердился на него за это и все отталкивал его от себя, раздраженно вскрикивая:

— Не лезь! Где у тебя рожа?

Вокруг них стоял оглушающий, пьяный хохот, и, задыхаясь от него, сын водочного заводчика хрипло ревел кому-то:

— Иди ко мне! Сто рублей в месяц, стол и квартиру! Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету — я дороже дам!

И все качалось из стороны в сторону плавными, волнообразными движениями. Люди то отдалялись от Фомы, то приближались к нему, потолок опускался, а пол двигался вверх, и Фоме казалось, что вот его сейчас расплющит, раздавит. Затем он почувствовал, что плывет куда-то по необ'ятно-широкой и бурной реке, и, шатаясь на ногах, в испуге начал кричать:

— Куда плывем? Где капитан?

Ему отвечал громкий, бессмысленный смех пьяных людей и резкий, противный крик черного человечка:

— Верно-о! Где капитан?

Фома очнулся от этого кошмара в маленькой комнатке с двумя окнами, и первое, на чем остановились его глаза, было сухое дерево. Оно стояло под окном; толстый ствол его, с

облезлой корой преграждал свету доступ в комнату, изогнутые и черные ветви без листьев бессильно распростерлись в воздухе и, покачиваясь, жалобно скрипели. Шел дождь, по стеклам лились потоки воды, было слышно, как она течет с крыши на землю и всхлипывает. К этому плачущему звуку примешивался другой, тонкий, то-и-дело прерывавшийся торопливый скрип пера по бумаге и какое-то отрывистое ворчание.

С трудом поворотив на подушкѣ тяжелую голову, Фома увидал маленького черного человечка, он, сидя за столом, быстро царапал пером по бумаге, одобрительно встряхивал круглой головой, вертел ею во все стороны, передергивал плечами и весь — всем своим маленьким телом, одетым лишь в подштанники и ночную рубаху — неустанно двигался на стуле, точно ему было горячо сидеть, а встать он не мог почему-то. Левая его рука, худая и тонкая, то крепко потирала лоб, то делала в воздухе какие-то непонятные знаки; босые ноги шаркали по полу, на шее трепетала какая-то жила, и даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось к Фоме — Фома видел тонкие губы, что-то шептавшие, острый нос, редкие усики, эти усики, прыгали вверх каждый раз, когда человечек улыбался . . . Лицо у него было желтое, морщинистое, и черные, живые, блестящие глазки казались чужими на нем.

Устав смотреть на него, Фома стал медленно водить глазами по комнате. На большие гвозди, вбитые в ее стены, были воткнуты пучки газет, отчего казалось, что стены покрыты опухолями. Потолок был оклеен когда-то белой бумагой; она вздулась пузырями, полопалась, отстала и висела грязными клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бумага . . . Вся комната производила такое впечатление, точно ее ошпарили кипятком.

Человечек бросил перо, наклонился над столом, бойко забарабанил по краю его пальцами рук и тихонько слабеньким голоском запел:

— Бе-ери барабан—и не бойся!
Це-луй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайшей науки,
Вот смысл философии все-ей!

Фома тяжело вздохнул и сказал:

— Зельтерской бы выпить . . .

— Ага! — воскликнул человечек и, спрыгнув со стула, очутился у дивана, на котором лежал Фома. — Здорово, товарищ! Зельтерской? С коньяком или просто?

— Лучше с коньяком . . . — сказал Фома, пожимая протянутую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь в лицо человечка . . .

— Егоровна! — крикнул тот к двери и, обратясь к Фоме, спросил: — Не узнаешь, Фома Игнатьевич?

— Помню . . . что-то . . . будто встречались . . .

— Четыре года продолжалась эта встреча . . . но это давно было! Ежов . . .

— Господи! — воскликнул Фома с изумлением, привстав на диване. — Да разве это ты?

— Я, брат, сам порой не верю в это, но факт — есть нечто такое, отчего сомнение отскакивает, как резиновый мяч от железа . . .

Лицо Ежова смешно исказилось, и руки для чего-то начали ощупывать грудь.

— Н-ну-у! — протянул Фома. — Вот так постарел ты! Сколько ж тебе лет-то?

— Тридцать . . .

— А — как пятьдесят . . . сухой, желтый! . . Видно не сладко жил-то?

Фоме было жалко видеть веселого и бойкого школьного товарища таким изношенным, живущим в этой конуре. Он смотрел на него, грустно мигал глазами и видел, как лицо Ежова подергивается, а глазки пылают раздражением. Ежов откупоривал бутылку с водой и, занятый этим, молчал, сжав бутылку коленями и тщетно напрягаясь, чтобы вытащить из нее пробку. И это его бессилие тоже трогало Фому.

— Н-да, обсосала тебя жизнь-то . . . А учился . . . — задумчиво говорил он.

— Пей! — сказал Ежов, даже побледневший от усталости, подавая ему стакан. Затем он потер лоб, сел на диван к Фоме и заговорил:

— Науку — оставь! Наука есть божественный напиток . . . но пока он еще негоден к употреблению, как водка, неочищенная от сивушного масла. Для счастья человека наука еще не готова, друг мой . . . и у людей, потребляющих ее, только

головы болят . . . вот как у нас с тобой теперь . . . Ты что это, как неосторожно пьешь?

— А что мне делать? — спросил Фома, усмехаясь.

Ежов пытливо прищуренными глазами посмотрел на Фому и сказал:

— Сопоставляя твой вопрос со всем тем, что ты вчера молол, чую душой, что ты, друг, тоже не от веселой жизни веселишься . . .

— Эх! — тяжко вздохнул Фома, вставая с дивана. — Какая жизнь? Так что-то . . . несуразное . . . Живу один . . . ничего не понимаю . . . плюнуть на все хочется и провалиться бы куда-нибудь! Бежать бы от всего . . . Тоска!

— Это любопытно! — сказал Ежов, потирая руки и весь вертясь. — Это любопытно, если это верно, ибо доказывает, что святой дух недовольства жизнью проник уже и в купеческие спальни . . . в мертвецкие душ, утопленных в жирных щах, в озерах чая и прочих жидкостях . . . Ты мне изложи все по порядку . . . Я, брат, тогда роман напишу . . .

— Мне говорили, что ты и то уж написал про меня что-то? — с любопытством спросил Фома и еще раз внимательно осмотрел старого товарища, не понимая, что может написать он, такой жалкий.

— Написал! А ты читал?

— Нет, не довелось . . .

— А что же тебе говорили?

— Здорово, будто, изругал ты меня.

— Гм . . . А тебе не интересно самому прочитать? — допрашивал Ежов, в упор рассматривая Гордеева.

— Я прочитаю! — обнадежил его Фома, чувствуя, что неловко ему перед Ежовым, и что Ежова как будто обижает такое отношение к его писаниям. — В самом деле — ведь интересно, ежели про меня написано . . . — добавил он, добродушно улыбаясь товарищу.

Эта встреча родила в нем тихое, доброе чувство, вызвав воспоминания о детстве, и они мелькали теперь в памяти его, — мелькали, как маленькие скромные огоньки, пугливо светя ему из дали прошлого.

Ежов подошел к столу, на котором уже стоял кипящий самовар, молча налил два стакана густого, как деготь, чая и сказал Фоме:

— Иди, пей чай . . . Рассказывай!

— Мне нечего рассказывать . . . Пустая у меня жизнь! Лучше ты мне про себя расскажи . . . ты все-таки, поди, больше моего знаешь . . .

Ежов задумался, не переставая вертеться и крутить головой. В задумчивости — только лицо его становилось неподвижным, — все морщинки на нем собирались около глаз и окружали их как бы лучами, а глаза от этого уходили глубже под лоб . . .

— Н-да, я, брат, кое-что видел . . . — заговорил он, встряхивая головой. — И знаю я, пожалуй, больше, чем мне следует знать, а знать больше, чем нужно, так же вредно для человека, как и не знать того, что необходимо. Рассказать тебе, как я жил? Попробую. Никогда, никому не рассказывал о себе . . . потому что ни в ком не возбуждал интереса . . . Преобидно жить на свете, не возбуждая в людях интереса к себе! . .

— Уж я по лицу, да и по всему, вижу, что не хорошо тебе жилось! — сказал Фома, чувствуя удовольствие от того, что и товарищу жизнь не сладка.

Ежов залпом выпил свой чай, швырнул стакан на блюдцо, поставил ноги на край стула и, обняв колени руками, положил на них подбородок. В этой позе, маленький и гибкий, как резина, он заговорил:

— Студент Сачков, бывший мой учитель, а ныне доктор медицины, винтер и холоп, говорил мне, бывало, когда я хорошо выучу урок: «Молодец Коля! Ты способный мальчик. Мы, разночинцы, бедные люди, с заднего двора жизни, должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всех . . . Россия нуждается в умных и честных людях, старайся быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом общества. На нас, разночинцах, покоятся теперь лучшие надежды страны, мы призваны внести в нее свет, правду . . .» И т. д. Я ему, скотине, верил . . . И вот с той поры прошло около двадцати лет — мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и света в жизнь не внесли. Россия попрежнему страдает своей хронической болезнью — избытком мерзавцев, и мы, разночинцы, с удовольствием пополняем собой их толпы. Мой учитель, повторяю, — лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказывает, а я — паяц на службе обществу. Меня, брат, здесь в городе преследует слава . . . Иду по улице

и слышу — извозчик говорит своему товарищу: «Вон Ежов идет! Здорово лается, едят его мухи!» Н-да! Этого тоже достичь надо . . .

Лицо Ежова сморщилось в едкую гримасу, он беззвучно, одними губами, засмеялся. Фоме была непонятна его речь, и он, чтоб сказать что-нибудь, сказал наобум:

— Не туда, значит, попал, куда метил . . .

— Да, я думал, что вырасту покрупнее . . . И вырос бы!

Фельетонист вскочил со стула и забегал по комнате, с визгом восклицая:

— Но, чтоб сохранить себя цельным для жизни — нужны огромные силы! Они были . . . Была у меня гибкость, ловкость . . . я все это прожил для того, чтоб научиться чему-то . . . что теперь совсем не нужно мне. Я и многие со мной, — ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни . . . Подумай, — желая сделать из себя человека ценного, я всячески обесценивал свою личность . . . Чтобы учиться и не издохнуть с голода, я шесть лет кряду обучал грамоте каких-то болванов и перенес массу мерзостей со стороны разных папаш и мамаш, без всякого стеснения унижавших меня . . . Зарабатывая на хлеб и чай, я не имел времени заработать на сапоги и обращался в благотворительные общества с покорнейшими просьбами о ссудах . . . Если б только благотворители могли подсчитать, сколько духа в человеке убивают они, поддерживая жизнь тела! Если б они знали, что в каждом рубле, который они дают на хлеб, — содержится на девяносто девять копеек яда для души! Если б их разорвало от избытка их доброты и гордости, почерпаемой ими из своей священной деятельности! Нет на земле человека гаже и противнее подающего милостыню, нет человека несчастнее принимающего ее!

Ежов бегал по комнате, как охваченный безумием, бумага под ногами его шуршала, рвалась, летела клочьями. Он скрипел зубами, вертел головой, его руки болтались в воздухе, точно надломленные крылья птицы. Фома смотрел на него со странным двойственным чувством: он и жалел Ежова, и приятно было ему видеть, как он мучается.

А в горле Ежова что-то взвизгивало, как несмазанная петля.

— Отравленный добротой людей, я погиб от роковой способности каждого бедняка, выбивающегося в люди, — от способ-

ности мириться с малым, в ожидании большего . . . О! ты знаешь? — от недостатка самооценки гибнет больше людей, чем от чахотки, и вот почему вожди масс, быть может, служат в околоточных надзирателях!

— Чорт с ними, с околоточными! — сказал Фома, махнув рукой. — Ты про себя валяй . . .

— Про себя! Я — весь тут! — воскликнул Ежов, остановившись среди комнаты и ударяя себя в грудь руками. — Все что мог — я уже совершил . . . достиг степени увеселителя публики и — больше ничего не могу!

— Ты погоди-ка — оживился Фома. — Ты скажи-ка ,— а что нужно делать, чтобы спокойно жить . . . то-есть, чтобы собой быть довольным?

— Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дурной болезни, даже возможности быть довольным собой!

Для Фомы эти слова прозвучали пусто, не шелохнув в сердце его никакого чувства, не зародив в голове ни одной мысли.

— Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе . . . Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху . . .

Теперь, бросив говорить о себе, Ежов заговорил иным тоном, спокойнее. Голос его звучал твердо и уверенно, лицо стало важно и строго. Он стоял среди комнаты, подняв руки с вытянутым пальцем, и говорил, точно читал:

— Самодовольный человек — затвердевшая опухоль на груди общества . . . Он набивает себя грошовыми истинами, обрызганными кусочками затхлой мудрости и существует, как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно ненужный ей, ни на что негодный . . . Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнёт вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни . . . Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений . . . и никто не хочет заметить, что убеждения для них — только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: спокойствие и умеренность — фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, — на ней изображено: ограниченность и туподушие! . .

— Сколько видел я таких людей! — с гневом и ужасом вскричал Ежов. — Сколько развелось этих мелочных лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов, и деготь, леденцы и буру для истребления тараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, — приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое . . . Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости . . . И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, — везет воз мусора за город и — несчастная! — довольна своей судьбой . . .

— Тоже, значит, лишние люди . . . — сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

— Нет, они не лишние, о нет! Они существуют для образца . . . — для указания, чем я не должен быть. Собственно говоря — место им в анатомических музеях, там, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные уклонения от гармоничного . . . В жизни, брат, ничего нет лишнего . . . в ней даже я нужен! Только те люди, у которых в груди, на месте умершего сердца — огромный нарыв мерзейшего самообожания, — только они — лишние . . . но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть . . .

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, — заражали, вызывая у парня боевое чувство. Но порой в нем вспыхивало недоверие к Ежову, и однажды он прямо спросил его:

— Ну . . . а в глаза людям можешь ты так говорить?

— При всяком удобном случае . . . И каждое воскресенье — в газете . . . Хочешь — почитаю?

Не дожидаясь ответа Фомы, он сорвал со стены несколько листов газеты и, продолжая бегать по комнате, стал читать ему. Он рычал, взвизгивал, смеялся, оскаливал зубы и был похож на злую собаку, которая рвется с цепи в бессильной ярости. Не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их

дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно, точно его в жаркой бане вениками парили . . .

— Ловко! — восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу. — Здорово пущено!

То-и-дело пред ним мелькали знакомые фамилии купцов и именитых горожан, которых Ежов язвил то смело и резко, то почтительно, тонким, как игла, жалом.

Одобрения Фомы и его горящие удовольствием глаза вдохновляли Ежова еще более, он все громче выл и рычал, то в изнеможении падая на диван, то снова вскакивая и подбегая к Фоме.

— Ну-ка, про меня прочитай! — вскричал Фома.

Ежов порылся в груде газет, вырвал из нее лист и, взяв его в обе руки, стал перед Фомой, широко расставив ноги, а Фома развалился в кресле с продавленным сиденьем и слушал, улыбаясь.

Заметка о Фоме начиналась описанием кутежа на плотах, и Фома при чтении ее стал чувствовать, что некоторые отдельные слова покусывают его, как комары. Лицо у него стало серьезнее, он наклонил голову и угрюмо молчал. А комаров становилось все больше . . .

— Уж очень ты разошелся! — сказал он, наконец, смущенно и недовольно. — Ведь одним тем, что опозорить человека умеешь, перед Богом не выслужишься . . .

— Молчи! Подожди! — кратко бросил ему Ежов, и продолжал чтение.

Установив в своей статье, что купец в деле творчества безобразий и скандалов несомненно возвышается над представителями других сословий, Ежов спрашивал: отчего это? — и отвечал:

«Мне кажется, что эта склонность к диким выходкам вытекает из недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избытком энергии и бездельем. Не может быть сомненья в том, что наше купечество — за малыми исключениями — сословие наиболее богатое здоровьем и в то же время наименее трудящееся . . .»

— Вот это верно-о! — воскликнул Фома, ударив кулаком по столу. — Это так! У меня силы — на быка, а работы — на воробья . . .

«Куда же девать купцу свою энергию? На бирже ее много

не истратишь, и вот он расточает избыток мускульного капитала в кабаках на кутежи, не имея представления об иных, более продуктивных и ценных для жизни пунктах приложения силы. Он — еще зверь, а жизнь для него уже стала клеткой, и ему тесно в ней при его добром здоровье и склонности к широкому размаху. Стесненный культурой, он нет-нет да и надебоширит. Купеческий дебош — всегда бунт пленного зверя. Разумеется — это дурно . . . Но, — ах! — будет еще хуже, когда этот зверь к своей силе прикопит немножко ума и дисциплинирует ее! Поверьте — он и тогда не перестанет производить скандалы, но — это уже будут исторические события. Избави нас, Боже, от таких событий! Ибо они проистекут из стремления купца ко власти, их целью будет всемогущество одного сословия и — не постеснится купец в средствах ради этой цели . . .»

— Ну, что скажешь — верно? — спросил Ежов, дочитав газету и бросая ее в сторону.

— Конца я не понимаю . . . — ответил Фома. — А вот о силе — верно!

Он торопливо и горячо выбросил пред Ежовым привычные свои мысли о жизни, о людях, о своей душевной спутанности и замолчал, опрокинувшись на диван.

— Н-да-а! — протянул Ежов. — Вот ты до чего долез! . . Это, брат, дело доброе! Ты — как насчет книжек? Читаешь какие-нибудь?

— Нет, не люблю! Не читывал . . .

— Оттого и не любишь, что не читал . . .

— Я даже боюсь читать . . . Видел я — тут одна . . . хуже запоя у нее это! И какой толк в книге? Один человек придумает что-нибудь, а другие читают . . . Коли любопытно, так ладно . . . Но чтобы учиться из книги, как жить, — это уж что-то несуразное! Ведь человек написал, не Бог, а какие законы и примеры человек установить может сам для себя?

— А Евангелие? Его написали люди же.

— То — апостолы . . . Теперь их нет . . .

— Ничего, — возразил дельно! Верно, брат, апостолов нет . . . Остались только Иуды, да и то дрянненькие.

Фома чувствовал себя хорошо, видя, что Ежов слушает его слова внимательно и точно взвешивает каждое слово, сказанное им. Первый раз в жизни встречаясь с таким отношением к

себе, Фома смело и свободно изливал пред товарищем свои думы, не заботясь о словах и чувствуя, что его поймут, потому что хотят понять.

— А любопытный ты парень! — сказал ему Ежов, дня через два после встречи. — И хоть тяжело ты говоришь, но чувствуется в тебе . . . большая дерзость сердца! Кабы тебе немножко знания порядков жизни! Заговорил бы ты тогда . . . довольно громко, я думаю . . . да-а!

— Словами себя не освободишь! . . — вздохнув, заметил Фома. — Ты вот как-то говорил про людей, которые притворяются, что все знают и могут . . . Я тоже знаю таких . . . Крестный мой, примерно . . . Вот против них бы двинуть . . . их бы уличить! . . Довольно вредный народ! . .

— Не представляю я, Фома, как ты будешь жить, если сохранишь в себе то, что теперь носишь . . . — задумчиво сказал Ежов.

Он тоже пил, этот маленький, ошпаренный жизнью человечек. Его день начинался так: утром за чаем он просматривал местные газеты, почерпал в них материал для фельетона, который писал тут же, на углу стола. Затем бежал в редакцию и там резал иногородние газеты, составляя из вырезок «Провинциальные картинки». В пятницу он должен был писать воскресный фельетон. За все это ему платили сто рублей в месяц; работал он быстро, и все свободное время посвящал «обозрению и изучению богоугодных учреждений». Вместе с Фомой он шлялся до глубокой ночи по клубам, гостиницам, трактирам, всюду черпая материал для своих писаний, которые он называл «щетками для чистки общественной совести». Цензора он именовал «заведующим распространением в жизни истины и справедливости», газету называл «сводней, занимающейся ознакомлением читателя с вредносными идеями», а свою в ней работу — «продажей души в розницу» и «поползновением к дерзновению против божественных учреждений».

Фома плохо понимал, когда Ежов шутит и когда он говорит серьезно. Обо всем он говорил горячо и страстно, все резко осуждал, это нравилось Фоме. Но часто, начав речь со страстью, он так же страстно возражал сам себе и опровергал себя или заканчивал ее какой-нибудь смешной выходкой. Тогда Фоме казалось, что у этого человека нет ничего, что бы он

любил, что̀ крепко сидело бы в нем и управляло им. Только о себе самом он говорил каким-то особым голосом, и чем горячее говорил о себе, тем беспощаднее ругал всех и все. К Фоме отношение его было двойственным — то он ободрял его, говоря ему с жаром и трепетом:

— Опровергай и опрокидывай все, что можешь! Дороже человека ничего нет, так и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы! . .

А когда Фома, загораясь от жгучих искр его речи, начинал мечтать о том, как он начнет опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотят расширить жизнь, — Ежов часто обрывал его:

— Брось! Ничего ты не можешь! Таких, как ты, — не надо . . . Ваша пора, — пора сильных, но не умных, прошла, брат! Опоздал ты . . . Нет тебе места в жизни . . .

— Нет? . . Врешь! — кричал Фома, возбужденный противоречием.

— Ну, что ты можешь сделать?

— А вот — убью тебя! — злобно говорил Фома, сжимая кулак.

— Э, чучело! — пожимая плечами, убедительно и с сожалением произносил Ежов. — Разве это дело? Я и так изувечен до полусмерти . . .

И вдруг, воспламененный тоскливой злостью, он весь подергивался и говорил:

— Обидела меня судьба моя! Зачем я работал, как машина двенадцать лет кряду? Чтобы учиться . . . Зачем я двенадцать лет без отдыха глотал в гимназии и университете сухую и скучную, ни на что ненужную мне противоречивую ерунду? Чтоб стать фельетонистом, чтоб изо дня в день балаганить, увеселяя публику и убеждая себя в том, что это ей нужно, полезно . . . Расстрелял я весь заряд души по три копейки за выстрел . . . Какую веру приобрел я себе? Только веру в то, что все в сей жизни ни к чорту не годится, все должно быть изломано, разрушено . . . Что я люблю? Себя . . . и чувствую предмет любви моей недостойным любви моей . . .

Он почти плакал и все как-то царапал тонкими, слабыми руками грудь и шею себе.

Но иногда им овладевал прилив бодрости и он говорил в ином духе:

— Ну, нет, еще моя песня не спета! Впитала кое-что грудь моя и — я свистну, как бич! Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дело и напишу одну маленькую книгу . . . Я назову ее — «Отходная»: есть такая молитва — ее читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу, как мускус.

Следя за ним и сравнивая его речи, Фома видел, что и Ежов такой же слабый и заплутавшийся человек, как он сам. Но речи Ежова обогащали язык Фомы, и порой он с радостью замечал за собой, как ловко и сильно высказана им та или другая мысль.

Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, которые, казалось ему, все знали, все понимали и всему противоречили, во всем видели обман и фальшь. Он молча присматривался к ним, прислушивался к их словам; их дерзость нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, чем на улице и в гостиницах. У них были особые комнатные разговоры, комнатные слова, жесты, и все это — вне комнаты заменялось самым обыкновенным, человеческим. Иногда в комнате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был среди них самой яркой головней, но блеск этого костра слабо освещал душу Фомы Гордеева.

Как-то раз Ежов сказал ему:

— Сегодня — кутим! Наши наборщики устроили артель и берут у издателя всю работу сдельно . . . По этому поводу будут спрыски и я приглашен, — это я им посоветовал . . . Идем? Угостишь их хорошенько . . .

— Могу . . . сказал Фома. Ему было безразлично, с кем проводить время, тяготившее его.

Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей с серыми лицами, за городом, у опушки рощи. Наборщиков было человек двенадцать; прилично одетые, они держались с Ежовым просто, по-товарищески, и это несколько удивляло и смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то вроде хозяина или начальника для них, а они — только слуги его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя, когда Ежов

знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, что рады видеть его . . . Он лег в сторонке, под кустом орешника, и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, замечая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал так-же, что маленький фельетонист как будто подыгрывался под тон наборщиков, — суетился вместе с ними около костра, откупоривал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всегда одевался.

— Эх, братцы! — восклицал он с удальством. — Хорошо с вами! Ведь я тоже невеличка-птичка . . . всего только сын судейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова!

«На что это он говорит? — думал Фома. — Мало ли кто чей сын . . . Не по отцу почет, а по уму . . .»

Заходило солнце, в небе тоже пылал огромный огненный костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сыростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой соломенной шляпе, наигрывал на гармонике, другой с черными усами и в картузе на затылке, вполголоса подпевал ему. Еще двое тянулось на палке, пробуя силу. Несколько фигур возилось у корзины с пивом и провизией; высокий человек с полуседою бородой подбрасывал в костер сучья, окутанный тяжелым, беловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, жалобно пищали и потрескивали, а гармоника задорно выводила веселую мелодию, и фальцет певца подкреплял и дополнял ее бойкую игру.

В стороне ото всех, у обрыва небольшой промоины, улеглись трое молодых парней, а пред ними стоял Ежов и звонко говорил:

— Вы несете священное знамя труда . . . и я, как вы, рядовой той же армии, мы все служим ее величеству прессе и должны жить в крепкой, прочной дружбе . . .

Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвлеченный другим разговором. Говорили двое: один высокий, чахоточный, плохо одетый и смотревший сердито, другой молоденький, с русыми волосами и бородкой.

— По-моему, — угрюмо и покашливая говорил высокий, — глупо это! Как можно жениться нашему брату? Пойдут дети

— разве хватит на них? Жену надо одевать . . . да еще какая попадется . . .

— Девушка она славная . . . — тихо сказал русый.

— Ну, это теперь хороша . . . Одно дело невеста, другое — жена . . . Да не в этом суть . . . А только — средств не хватит . . . и сам надорвешься в работе, и ее заездишь . . . Совсем невозможное дело женитьба для нас . . . Разве мы можем семью поднять на таком заработке? Вот видишь, — я женат . . . всего четыре года . . . а уж скоро мне — конец!

Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда перестал, то сказал товарищу, задыхаясь:

— Брось . . . ничего не выйдет . . .

Тот грустно опустил голову, а Фома подумал:

«Дельно говорит . . .»

Невнимание к нему немножко обижало его и в то же время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами. Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них не заискивал пред ним, не лез к нему с назойливостью, обычной для его трактирных знакомых, товарищей по кутежам. Это нравилось ему . . .

— Ишь какие . . . — думал он, внутренно усмехаясь, — имеют свою гордость . . .

— А вы, Николай Матвеич, — раздался чей-то, как будто укоряющий голос, — вы не по книжке судите, а по живой правде . . .

— По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваших собратий? . .

Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали:

— Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев!

Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и высоких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо ему. Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил:

— Можно и поближе . . . А что — к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылок с десять . . . на всякий случай . . .

— Ого! Видать — вы сурьезный купец . . . Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту! . .

И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом.

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города невидимая рука сеяла огни, а здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба . . . Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак . . .

Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра: Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел пред собою ряд ярко освещенных лиц веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Все это для Фомы имело какой-то особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный общим, славным настроением, и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе . . .

— Братцы! — крикнул толстый парень. — Давайте грянем студенческую . . . ну, раз, два! . . .

— Быстры, ка-ак во-олны . . .

Кто-то загудел басом:

— Д-дни-и нашей . . .

— Товарищи! — сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы. Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы . . .

— Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов ... от сердца . . . Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас . . . Это потому, что вы — люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается . . . В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку . . .

Голос Ежова дрогнул, зазвенел и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом:

— Я — не один . . . нас много таких, загнанных судьбой, разбитых и больных людей . . . Мы — несчастнее вас, потому что слабее и телом, и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием . . . которое нам некуда приложить . . . Мы все с радостью готовы притти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить . . . больше нам нечего делать! Без вас мы — без почвы, вы без нас — без света! Товарищи! Мы судьбой самою созданы для того, чтоб дополнять друг друга!

«Чего это он у них просит?» — думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.

— Будущее ваше, — друзья мои! — говорил Ежов нетвердо и грустно покачивал головой, точно сожалея о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. — Будущее принадлежит людям честного труда . . . Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру . . . Я — ваш по плоти и духу, сын солдата — предлагаю: выпьем за ваше будущее! Ур-ра-а!

Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возглас, и в воздухе прокатился гремящий, сильный крик, сотрясая листву на деревьях.

— Теперь песню! — снова предложил толстый парень.

— Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.

— Братцы! — вдруг снова крикнул он. — Ответьте мне . . . ответьте парой слов на мой привет вам . . .

Снова — хотя и не сразу — все замолчали, глядя на него — иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:

— Здесь двое нас . . . отверженных от жизни, — я и вот этот . . . Мы оба хотим . . . одного и того же . . . внимания к

человеку . . . счастья чувствовать себя нужными людям . . . Товарищи! И этот большой и глупый человек . . .

— А вы, Николай Матвеич, не обижайте гостя! — раздался чей-то густой и недовольный голос.

— Да, это лишнее! — подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. — Зачем обидные слова?

Третий голос громко и отчетливо сказал:

— Мы собрались повеселиться . . . отдохнуть . . .

— Глупцы! — слабо засмеялся Ежов. — Добрые глупцы! . . Вам жалко его? Но — знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут у вас . . .

— Будет, Николай Матвеич! — крикнули Ежову. И все загудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападок Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что если Ежов заметит это — больно будет ему. И, чтоб отвлечь товарища в сторону от возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, ты, ругатель, — выпьем, что ли? А то, может, домой пора?

— Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей? — спросил Ежов, и снова закричал: — Товарищи!

Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:

— Уйдем отсюда! . .

— Ну, идем . . . Хотя я бы еще посидел . . . Любопытно . . . Благородно они, черти ведут себя . . . ей-Богу!

— Я не могу больше: мне холодно . . .

Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись наборщикам, громко и весело сказал:

— Спасибо, господа, за угощенье! Прощайте!

Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса:

— Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а?

— Нет, надо итти . . . вот и товарищу одному неловко . . . провожу . . . Весело вам пировать!

— Эх, подождали бы вы! . . — воскликнул толстый парень и тихо шепнул: — Его можно одного проводить . . .

Чахоточный тоже сказал тихонько:

— Вы оставайтесь . . . А мы его до города проводим, там на извозчика и — готово!

Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно чего-то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его пальто, пробормотал:

— Иде-ем . . . чорт с ними!

— До свидания, господа! Пойду! — сказал Фома и пошел прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожаления.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на двадцать. — Провожают с прискорбием, а сами рады, что я ушел . . . Я им мешал превратиться в скотов . . .

— Это верно, что мешал . . . — сказал Фома. — На что ты речи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты клянчишь у них . . . Им от этого скука . . .

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — резко крикнул Ежов. — Ты думаешь — я пьян? Это тело мое пьяно, а душа — трезва . . . она всегда трезва и все чувствует . . . О, сколько гнусного на свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди . . .

Ежов остановился и, схватившись за голову руками, постоял с минуту, пошатываясь на ногах.

— Н-да-а! — протянул Фома. — Очень они не похожи на других . . . Вежливы . . . Господа, вроде . . . И рассуждают правильно . . . С понятием . . . А ведь просто — рабочие! . .

Во тьме сзади их громко запели хоровую песню. Нестройная сначала, она все росла и вот полилась широкий, бодрой волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем.

— О Боже мой! — вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо. — К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой . . .

— Эти простые люди, — медленно и задумчиво говорил Фома, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими думами, — они, ежели присмотреться к ним, — ничего! Даже очень . . . Любопытно . . . Мужики . . . рабочие . . . ежели их так просто брать — все равно, как лошади . . . Везут себе, пыхтят . . .

— Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! — с раздражением воскликнул Ежов. — Везут, как лошади . . . покор-

но, тупо . . . И эта их покорность — наше несчастие, наше проклятие . . .

Он, пошатываясь, долгое время шел молча, и вдруг каким-то глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой:

— «Я жизнью жестоко обманут
И столько я бед перенес . . .»

— Это, брат, мои стихи, — сказал он, остановившись и грустно покачивая головой. — Как там дальше? Забыл . . . Э-эх!

— «В груди никогда не воспрянут
Рои погребенных в ней грез . . .»

— Брат! Ты счастливее меня, потому что — глуп . . .

— Не скули! — с раздражением сказал Фома. — Вот слушай, как они поют . . .

— Не хочу слушать чужих песен . . . — отрицательно качнув головой, сказал Ежов. — У меня есть своя . . .

И он завыл диким голосом:

«В душ-ше никогда не воспря-анут
Р-рои погр-ребенных в ней грез . . .
Их мно-ого та-ам!»

Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было жалко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо, он сказал:

— Перестань! Пойдем . . . Экий ты, брат, слабый . . .

Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнутое тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел:

«Их мно-ого та-ам!
Склеп им там те-есен!
Я в саваны рифм их оде-ел . . .
И много над ними я песен
Печальных и грустных про-опе-ел!»

— О, Господи! — с отчаянием вздохнул Фома.

Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот острый, режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смотрел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг него. Стена леса была — как грудь, а костер — словно кровавая рана в ней. Охваченные густою тьмою со всех сторон,

люди на фоне леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горели, облитые пламенем костра, взмахивали руками и пели свою песню громко, сильно.

А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим голосом:

«Про-опел—и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна...
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!
Она-а безнаде-ежно-о больна-а!...
Господь... упокой мо-ою душу...»

Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фельетонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети...

— Николай! — говорил Фома, поднимая его за плечи. — Перестань, — что такое? Будет... как не стыдно!

Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги — крепко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и все плакал...

— Ну, ладно! — говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы. — Будет, милый...

И возмущенный страданием измученного теснотою жизни человека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, густым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во тьме сверкали огни города:

— О, черти... анафемы!

XI.

— Любавка! — сказал однажды Маякин, придя домой с биржи, — сегодня вечером приготовься — жениха привезу! Закусочку нам устрой посолиднее... Серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фрукт тоже вынь... Чтоб в нос ему бросился наш стол! Пускай видит, — у нас, что ни вещь — редкость!

Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе.

— Зачем все это, папаша? — с неудовольствием и обидой спросила она.

— А — для соуса, для вкуса! . . И для порядка . . . Потому — девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь . . .

Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды взглянула на отца . . . и, снова взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку; глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую, сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, — были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя, как на что-то лучшее и высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, — которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что — пора и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины, и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что может сказать она, — сердце отца ее не услышит.

А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался . . .

— Тэк-с! . . Суди меня, Боже, и рассуди прю мою . . . от человека неправедна и льстива избави мя . . . Н-да-а . . . Материны изумруды надень, Любовь . . .

— Будет, папаша! — воскликнула девушка с тоской. — Оставьте, пожалуйста . . .

— А ты не брыкайся! Слушай, чему учат . . .

И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя пред лицом.

— Тридцать пять процентов выходит . . . жулик-парень! . . Посли свет Тво-ой и истину Твою . . .

— Папаша! — уныло и с боязнью воскликнула Любовь.

— Ась?

— Вы . . . вам он нравится?

— Кто?

— Смолин . . .

— Смолин? — Н-да . . . он — ше-ельма . . . дельный парень . . . Ну — я ушел . . . Так ты тово, — вооружись! . .

Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полная горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх пред будущим и безмолвно молилась:

— О, Боже мой! О, Господи! . . Если б он был порядочный человек! . . Сделай, чтоб он был порядочный . . . сердечный . . . О, Боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя . . . и на долгие годы берет себе . . . Как это позорно и страшно . . . Боже мой, Боже! . . Посоветоваться бы с кем-нибудь . . . Одна . . . Тарас хоть бы . . .

При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать повидаться с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец — умница и может все понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней.

Две недели она с трепетом ждала ответа, и когда, получив, прочитала его — то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток; в нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно; она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла, и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным, твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца.

На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился к дочери:

— Ну-ка, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаем, как умники пишут . . . Где очки-то? «Дорогая сестра!» Н-да . . .

Старик замолчал; прочитал про-себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо; задумчиво постукал пальцами по столу и изрек:

— Ничего, — писание основательное . . . без лишних слов . . . Что-ж? Может, и в самом деле окреп человек на холоде-то . . . Холода там сердитые . . . Пускай приедет . . . Поглядим . . . Любопытно . . . Н-да . . . В псалме Давидове сказано: «внегда, возвратитися врагу моему вспять» . . . забыл, как дальше-то . . . «Врагу оскудеша оружия в конец . . . и погибе память его с шумом» . . . Ну, мы с ним без шума потолкуем . . .

Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно.

— Ты ему еще напиши, Любавка . . . валяй, мол, смело приезжай!

Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат? Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни, — теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми . . . Вот приедет он и спросит ее:

— Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж?

Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца: убрала стол старинным серебром, надела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды — фамильную драгоценность князей Грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе, вместе со множеством других редких вещей.

Глядя в зеркало на свое взволнованное лицо, на котором крупные и сочные губы казались еще красивее от бледности

щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее, как лишнее, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине — что это за человек?

Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастии быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белил и пудры, Любови показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру . . . Последний взгляд в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, — красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность, она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену.

Отец и Смолин уже пришли.

Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищурив глаза и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон — понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина . . . Он мало изменился — такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках; только усы выросли у него длинные и пышные, да глаза стали как будто больше.

— Каков стал, э? — крикнул Маякин дочери, указывая на жениха.

А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном:

— Смею надеяться — вы не забыли старого товарища?

— Вы после поговорите, — сказал старик, ощупывая дочь глазами. Ты, Любава, — пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, из'ясняй . . .

— Вы извините меня, Любовь Яковлевна? — ласково спросил Смолин.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказала Любовь.

«Вежлив!» — отметила она и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно.

— Так вот, — я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на заграничных рынках. Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно — ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время — удешевить его . . . Товар их возмутительно плох и дорог . . . Они повинны пред Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще — мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, — стало быть, поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, — такой производитель — несчастие страны, паразит ее торговли . . .

Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, это ее задело.

— Мм . . . — промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. — Так, значит, твое теперь намерение — взбодрить такую агромадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка?

— О, нет! — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. — Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар . . . Торговая честь страны . . .

— Много ли, говоришь, капитала-то требуется? — задумчиво спросил Маякин.

— Около трехсот тысяч . . .

«Столько отец не даст за мной», — подумала Любовь.

— Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле, в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней . . .

— А о каком ты проценте мечтаешь? — спросил старик.

— Я — не мечтаю, я — высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях, — внушительно сказал Смолин. — Производитель должен быть строго-трезв, как механик, создающий машину . . . Нужно принимать в расчет трение каждого самомалейшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения со-

ставленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России . . .

— Ишь ты! — усмехнулся Маякин. — Принеси записочку, — любопытно! Видать — ты в Европах не даром время проводил . . . А теперь — поедим чего-нибудь, по русскому обычаю . . .

— Как поживаете, Любовь Яковлевна? — спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилкой.

— Она у меня скучно живет . . . — ответил за дочь Маякин. — Домоправительница, все хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-то . . .

— И негде, нужно добавить, — сказала Люба. — Купеческих балов и вечеринок я не люблю . . .

— А театр! — спросил Смолин.

— Тоже редко бываю . . . не с кем . . .

— Театр! — воскликнул старик. — Скажите на милость — зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? Очень это смешно, но — непонятно, потому — неправда! Какой я дурак, ежели в думе я — хозяин, в торговле — хозяин, да и театришко-то мой? . . Смотришь на театре купца и видишь — не сообразно с жизнью! Конечно, ежели историческое представляют — примерно: «Жизнь за Царя» с пением и пляской, али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису» — тут правды не требуется потому — дело прошлое и нас не касается . . . Верно или не верно — было бы здорово . . . Но ежели современность представляешь, — так уж ты не ври! И показывай человека, как следует . . .

Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любови такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:

— А все-таки, папаша, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико . . .

— Н-да, — утвердительно кивнув головой, молвил Смолин. К сожалению, — это печальная истина . . . А в обществах вы ни в каких не участвуете? — Ведь у вас тут много разных обществ . . .

— Да, — вздохнув, сказала Любовь, — Но я как-то в стороне от всего живу . . .

— Хозяйство! — вставил отец. — Вон сколько разной дре-

бедени у нас . . . требуется содержать все на счету, в чистоте и порядке . . .

Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку, полки которой ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел все это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любови; она в его взгляде уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренно с робкой радостью сказала про-себя:

«Слава Богу! . .»

Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлей.

— А мне нравится наш старый, славный город! — говорил Смолин, с ласковой улыбкой глядя на девушку, — такой он красивый, бойкий . . . есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду . . . сама его картинность возбуждает как-то . . . В нем хочется жить широкой жизнью . . . хочется работать много и серьезно . . . И притом — интеллигентный город . . . Смотрите — какая дельная газета издается здесь . . . Кстати — мы хотим ее купить . . .

— Кто это вы? — спросил Маякин.

— Да вот я . . . Урванцов, Щукин.

— Это — похвально! — ударив рукой по столу, сказал старик. — Пора им глотку заткнуть — давно пора! Особенно Ежов там есть . . . пила такая зубастая . . . Вот его вы и приструньте! Да хорошенько! . . .

Смолин снова бросил Любови улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно дрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренно адресуясь к жениху:

— Насколько я понимаю Африкана Дмитриевича, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите . . .

— А куда ее? — спросил старик, пожав плечами. — Одно пустозвонство и смута от нее . . . Конечно, ежели деловой народ, сам купец возьмется в ней писать . . .

— Издание газеты, — поучительно заговорил Смолин, перебивая речь старика, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень прибыльным делом. Но

помимо этого у газеты есть другая, более важная цель — это защита прав личности и интересов промышленности и торговли . . .

— Вот я и говорю — если сам купец будет руководствовать ей, газетой, — тогда — она нужна . . .

— Позвольте, папаша, — сказала Любовь.

Она чувствовала потребность высказаться пред Смолиным; ей хотелось убедить его, что она понимает значение его слов, она — не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет и говорит с ее отцом — первым умником в городе — снисходительным тоном взрослого с малолетним.

«После свадьбы уговорю его свозить меня за границу . . .» — вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать не лестно для нее.

— Вы, за разговором, совсем забыли предложить гостю вина . . . — нашлась она после нескольких неприятных секунд молчания.

— Это твое дело: ты хозяйка . . . — возразил отец.

— О, пожалуйста, не беспокойтесь! — живо воскликнул Смолин. — Я ведь почти не пью . . .

— Ой ли? — спросил Маякин.

— Уверяю вас! Иногда рюмку, две, в случае утомления, нездоровья . . . А вино для удовольствия — непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека . . .

— Барыни, что ли? — подмигнув, спросил старик.

Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал ее отцу:

— Театр, книги, музыка . . .

Любовь так вся и расцвела при его словах.

А старик исподлобья посмотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил:

— Эх, двигается жизнь-то! Раньше пёсик корку жрал, — нынче моське сливки жидки . . . Простите, любезные господа, на кислом слове . . . слово-то больно уж к месту! Оно — не про вас, а вообще . . .

Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слыхал слов старика . . . Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдался вперед.

— Так, значит, господин будущий фабрикант, — как ни в чем не бывало заговорил Маякин, — триста тысяч целковых, и — дело твое заиграет, пожаром?

— Через полтора года я выпущу первую партию товара, который у меня оторвут с руками, — с непоколебимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым, холодным взглядом.

— Стало быть: торговый дом Смолин и Маякин и — больше никаких? Тэк-с . . . Поздно мне, будто бы, новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан, — ты как думаешь про это?

Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным и холодным смехом, а потом сказал:

— Э, полноте . . .

Старик вздрогнул при смехе его и пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали.

— Н-да-а . . . — сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы. — Надо подумать об этом . . . надобно мне подумать . . . — Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо: — На минуточку я отойду от вас в кабинетишко к себе . . .

И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову . . .

Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь, взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустив глаза вниз, потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки:

— А . . . — извините меня за нескромность! — должно быть,

в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей . . . ветхозаветен он у вас и — простите — черствоват!

Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему:

— Не легко, но я привыкла . . . У него есть свои достоинства . . .

— О, это несомненно! Но вам, молодой, красивой, образованной, вам с вашими взглядами . . .

Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий . . . В комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье.

XII.

Фома сидел у Ежова и слушал городские новости из уст своего товарища. Ежов сидя на столе, заваленный газетами, и, болтая ногами, рассказывал:

— Началась выборная кампания, купечество выдвигает в головы твоего крестного, — старого дьявола! — Он бессмертен . . . ему, должно быть, полтораста лет уже минуло? Дочь свою он выдает за Смолина — помнишь, рыжего! Про него говорят, что это порядочный человек . . . по нынешним временам порядочными людьми именуют и умных мерзавцев, потому что — людей нет! Африкашка корчит из себя просвещенного человека, уже успел влезть в интеллигентное общество, и — сразу стал на виду. По роже судя, — жулик первой степени, но, видимо будет играть роль, ибо обладает чувством меры. Н — да, брат, Африкашка — либерал . . . Либеральный купец — это помесь волка и свиньи.

— Пёс с ними, со всеми! — сказал Фома, равнодушно махнув рукой. — Что мне до них? Ты как — пьешь все?

— Почему же мне не пить?

Полуодетый и растрепанный Ежов был похож на ощипанную птицу, которая только-что подралась и еще не успела пережить возбуждения боя.

— Пью, потому что надо мне, от времени до времени гасить пламя сердца . . . А — ты, сырой пень, тлеешь понемножку?

— Надо мне итти к старику! . . — сморщив лицо, сказал Фома.

— Дерзай!

— Не хочется . . .

— Так не ходи! . .

— Нужно . . .

— А тогда — иди! . .

— Что ты все балагуришь? — недовольно сказал Фома. — Будто и в самом деле весело ему . . .

— Мне, ей-Богу, весело! — воскликнул Ежов, спрыгнув со стола. — Ка-ак я вчер-ра одного сударя распатронил в газете! И потом — я слышал один мудрый анекдот: сидит компания на берегу моря и пространно философствует о жизни. А еврей говорит: «Гашпада! И за-ачем штольки много разного шлов? И я вам шкажу все и зразу: жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее море! . .»

— Э, ну тебя, — сказал Фома. — Прощай! . .

— Иди! Я сегодня высоко настроен и стонать я с тобой не могу . . . тем более, что ты и не стонешь а — хрюкаешь . . .

Фома ушел, оставив Ежова распевающим во все горло:

— «Греми в бар-рабан и—не бойся» . . .

«Сам ты барабан . . .» — с раздражением подумал Фома.

У Маякина его встретила Люба. Чем-то взволнованная и оживленная, она вдруг явилась пред ним, быстро говоря:

— Ты? Боже мой! Ка-акой ты бледный . . . как похудел . . . Хорошую, видно, жизнь ведешь!

Потом лицо ее исказилось тревогой и она почти шопотом воскликнула:

— Ах, Фома! Ты не знаешь — ведь . . . вот! Слышишь? Звонят! Может быть — он . . .

И девушка бросилась из комнаты, оставив за собой в воздухе шелест шелкового платья и изумленного Фому, он не успел даже спросить ее, — где отец? Яков Тарасович был дома. Он, парадно одетый, в длинном сюртуке, с медалями на груди, стоял в дверях, раскинув руки и держась ими за косяки. Его зеленые глазки щупали Фому, почувствовав их взгляд, он поднял голову и встретился с ними.

— Здравствуйте, господин хороший! — заговорил старик, укоризненно качая головой. — Откуда изволили прибыть? Кто это жирок-то обсосал с вас? Али — свинья ищет, где лужа, а Фома, где хуже?

— Нет у вас других слов для меня? — угрюмо спросил Фома, в упор глядя на старика.

Вдруг он увидал, что крестный вздрогнул, ноги его затряслись, глаза учащенно замигали, и руки вцепились в косяки. Фома двинулся к нему, полагая, что старику дурно, но Яков Тарасович глухим и сердитым голосом сказал:

— Посторонись . . . отойди! . .

Фома отступил назад и очутился рядом с невысоким, круглым человеком, он кланяясь Маякину, хриплым голосом говорил:

— Здравствуйте, папаша!

— Здра-авствуй, Тарас Яковлевич, здравствуй . . . — не отнимая рук от косяков, говорил и кланялся старик, криво улыбаясь, — ноги его дрожали.

Фома отошел в сторону, и сел, окаменев от любопытства.

Маякин стоя в дверях, раскачивал свое хилое тело, все упираясь руками в косяки, и, склонив голову на бок, молча смотрел на сына. Сын стоял против него, высоко подняв голову, нахмурив брови, над большими темными глазами. Черная клинообразная бородка и маленькие усы вздрагивали на его сухом лице, с хрящеватым, как у отца, носом. Из-за его плеча Фома видел бледное, испуганное и радостное лицо Любы — она смотрела на отца умоляюще, и казалось, — сейчас она закричит. Несколько секунд все молчали, не двигаясь, подавленные тем, что ощущали. Молчание разрушил тихий, странно глухой голос Якова Маякина:

— Старенек, ты, Тарас . . .

Сын молча усмехнулся в лицо отцу и быстрым взглядом окинул его с головы до ног.

Отец, оторвав руки от косяков, шагнул навстречу сыну и — остановился, вдруг нахмурившись. Тогда Тарас Маякин одним большим шагом стал против отца и протянул ему руку.

— Ну . . . поцелуемся! . . — тихо предложил отец.

Они судорожно обвили друг друга руками, крепко поцеловались и отступили друг от друга. Морщины старшего вздрагивали, сухое лицо младшего было неподвижно, почти сурово. Любовь радостно всхлипнула, Фома неуклюже завозился на кресле, чувствуя, что у него спирает дыхание.

— Эх — дети! Язвы сердца, — а не радость его вы! . . — Звенящим голосом пожаловался Яков Тарасович, и, должно

быть, он много вложил в эти слова, потому что тотчас же после них просиял, приободрился и бойко заговорил, обращаясь к дочери:

— Ну, ты раскисла от сладости? Айда-ка собери нам чего-нибудь . . . Угостим, что ли, блудного сына! Ты, чай, старичишка, забыл, каков есть отец-то у тебя?

Тарас Маякин рассматривал родителя вдумчивым взглядом и улыбался, молчаливый, одетый в черное, отчего седые волосы на голове и в бороде его выступали резче . . .

— Ну, садись! Говори — как жил, что делал? . . Куда смотришь? Это — крестник мой, Игната Гордеева сын, Фома, — Игната помнишь?

— Я все помню, — сказал Тарас.

— О? Это хорошо . . . коли не хвастаешь! . . Ну, — женат?

— Вдов . . .

— Дети есть?

— Померли . . . двое было . . .

— Жа-аль . . . Внуки у меня были бы . . .

— Я закурю? — спросил Тарас у отца.

— Вали! . . Ишь ты, — сигары куришь . . .

— А вы не любите их?

— Я? Все равно мне . . . Я к тому, что барственно как-то, — когда сигара . . . Я просто так сказал, — смешно мне . . . Этакий солидный старичина, борода по-иностранному, сигара в зубах . . . Кто такой? Мой сынишка — хе-хе-хе! — Старик толкнул Тараса в плечо и отскочил от него, как бы испугавшись, — не рано ли он радуется, так ли, как надо, относится к этому полуседому человеку? И он пытливо и подозрительно заглянул в большие, окруженные желтоватыми припухлостями, глаза сына.

Тарас улыбнулся в лицо отца приветливой и теплой улыбкой и задумчиво сказал ему:

— Таким, вот, я и помню вас, веселым, — живым . . . Как будто вы за эти годы ничуть не изменились! . .

Старик гордо выпрямился и, ударив себя кулаком в грудь, сказал:

— Я — никогда не изменюсь! . . Потому — над человеком, который себе цену знает, жизнь не властна!

— Ого! какой вы гордый . . .

— В сына пошел, должно быть! — с хитрой гримасой молвил старик. — У меня, брат, сын семнадцать лет молчал из гордости . . .

— Это потому, что отец не хотел его слушать . . . — напомнил Тарас.

— Ладно уж! Богу только известно, кто пред кем виноват... Он, справедливый, скажет это тебе, погоди! Не время нам с тобой об этом теперь разговаривать . . . Ты вот что скажи — чем ты занимался в эти годы? Как это ты на содовый завод попал? В люди-то как выбился?

— История длинная! — вздохнув, сказал Тарас и выпустив изо рта клуб дыма, начал неторопясь: — Когда я получил возможность жить на воле, то поступил в контору управляющего золотыми приисками Ремезовых . . .

— Знаю! . . Три брата, — всех знаю! Один — урод, другой — дурак, а третий — скряга . . .

— Два года прослужил у него, — а потом женился на его дочери . . . — хрипящим голосом рассказывал Маякин.

— Так. Не глупо . . .

Тарас задумался и помолчал. Старик взглянул на его грустное лицо.

— С женой, значит, хорошо жил . . . — сказал он. — Ну, что ж? Мертвому — рай, живой — дальше играй! . . Не так, уж, ты стар . . . Давно овдовел?

— Третий год . . .

— А на соду как попал?

— Это завод тестя . . .

— Ага-а! Сколько получаешь?

— Около пяти тысяч . . .

— Кусок не черствый! Н-да-а! Вот-те и каторжник!

Тарас взглянул на отца твердым взглядом и сухо спросил его:

— Кстати — с чего это вы взяли, что я в каторге был?

Старик взглянул на сына с изумлением, которое быстро сменилось в нем радостью:

А — как же? Не был? О, чтоб вам! Стало быть — как же? Да ты не обижайся! Разве разберешь? Сказано — в Сибирь! Ну, а там — каторга! . .

— Чтобы раз навсегда покончить с этим, — серьезно и внушительно сказал Тарас, похлопывая рукой по колену, — я

скажу вам теперь же, как все это было. Я был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет, и все время ссылки жил в Ленском горном округе . . . В Москве сидел в тюрьме около девяти месяцев — вот и все!

— Та-ак! Однако — что же это? — смущенно и радостно бормотал Яков Тарасович.

— А тут распустили этот нелепый слух . . .

— Уж подлинно — нелепый! — сокрушился старик.

— И очень насолили мне однажды . . .

— Но-о? Неужто?

— Да . . . Я начал свое дело . . .

Внимательно слушая беседу Маякиных, упорно разглядывая приезжего, Фома сидел в своем углу и недоумевающе моргал глазами. Вспоминая отношение Любови к брату, до известной степени настроенный ее рассказами о Тарасе, он ожидал увидать в лице его что-то необычное, не похожее на обыкновенных людей. Он думал, что Тарас и говорит как-нибудь особенно, и одевается по-своему, вообще — не похож на людей. А пред ним сидел солидный человек, строго одетый, очень похожий лицом на отца и отличавшийся от него только сигарой. Говорит он кратко, дельно, о простых таких вещах, — где же особенное в нем? Вот он начал рассказывать отцу о выгодности производства соды . . . В каторге он не был, — наврала Любовь!

Она то и дело появлялась в комнате. Ее лицо сияло счастьем, и глаза с восторгом осматривали черную фигуру Тараса, одетого в такой особенный, толстый сюртук с карманами на боках и с большими пуговицами. Она ходила на цыпочках и как-то все вытягивала шею по направлению к брату. Фома вопросительно поглядывал на нее, но она его не замечала, пробегая мимо двери с тарелками и бутылками в руках.

Случилось так, что она заглянула в комнату как раз в то время, когда ее брат говорил отцу о каторге. Она замерла на месте, держа поднос в протянутых руках, и выслушала все, что сказал брат о наказании, понесенном им. Выслушала и — медленно пошла прочь, не уловив недоумевающе-насмешливого взгляда Фомы. Погруженный в свои соображения о Тарасе, немного обиженный тем, что никто не обращает на него внимания, и еще ни разу не взглянул на него, — Фома перестал на минуту следить за разговором Маякиных и вдруг почувствовал, что его схватили

за плечо. Он вздрогнул и вскочил на ноги, чуть не уронив крестного.

— Вот — гляди! Вот Маякин! Его кипятили в семи котлах, а он — жив! И — богат! Понял? Без всякой помощи, один — пробился к своему месту! Это значит — Маякин! Маякин, человек, который держит судьбу в своих руках . . . Понял? Учись! В сотне нет такого, ищи в тысяче . . . Так и знай: Маякина из человека ни в чорта, ни в ангела не перекуешь . . .

Ошеломленный буйным натиском, Фома растерялся, не зная, что сказать старику в ответ на его шумную похвальбу. Он видел, что Тарас, спокойно покуривая свою сигару, смотрит на отца, и углы его губ вздрагивают от улыбки. Лицо у него снисходительно-довольное, и вся фигура барски-гордая. Он как бы забавлялся радостью старика . . .

А Яков Тарасович тыкал Фому пальцем в грудь и говорил:

— Я его, сына родного, не знаю, — он души своей не открывал предо мною . . . Может, между нами такая разница выросла, что ее не токмо орел не перелетит — чорт не перелезет! . . Может, его кровь так перекипела, что и запаха отцова нет в ней . . . а — Маякин он! И я это чую сразу . . . Чую и говорю: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко! . .

Старик дрожал в лихорадке ликования, точно приплясывал, стоя пред Фомой.

— Ну, успокойтесь, батюшка! — сказал Тарас, неторопливо встав со стула и подходя к отцу. — Сядем . . .

Он небрежно усмехнулся Фоме и, взяв отца под руки, повел к столу . . .

— Я в кровь верю! — говорил Яков Тарасович. — В ней вся сила! Отец мой, говорил мне: Яшка! ты подлинная моя кровь! У Маякиных кровь густая, никакая баба никогда не разбавит ее . . . А мы выпьем шампанского! Выпьем? Говори мне . . . говори про себя . . . как там, в Сибири?

И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыслью, старик уставился в лицо сына испытующими глазами. А через несколько минут обстоятельные, но краткие ответы Тараса опять возбудили в нем шумную радость. Фома все слушал и присматривался, смирно посиживая в своем углу.

— Золотопромышленность, разумеется, дело солидное, — говорил Тарас спокойно и важно, — но, все-таки, рискованное,

и требующее крупного капитала . . . Очень выгодно иметь дело с инородцами . . . Торговля с ними, даже поставленная кое-как, дает огромный процент. Это совершенно безошибочное предприятие . . . Но — скучное. Оно не требует большого ума, в нем негде развернуться человеку, человеку крупного почина . . .

Вошла Любовь и пригласила всех в столовую. Когда Маякины пошли туда, Фома незаметно дернул Любовь за рукав, и она осталась вдвоем с ним, торопливо спрашивая его:

— Ты что?

— Ничего! . . — улыбаясь, сказал Фома. — Хочу спросить тебя — рада?

— Еще бы! — воскликнула Любовь.

— А чему?

— Странный ты! — удивленно взглянув на него, сказала Любовь. — Разве не видишь?

— Э-эх ты! с презрительным сожалением протянул Фома. — Разве от твоего отца, — разве в нашем купецком быту родится что-нибудь хорошее? А ты врала мне: Тарас — такой, Тарас — сякой! Купец, как купец . . . И брюхо купеческое . . . — Он был доволен, видя, что девушка, возмущенная его словами, кусает губы, то краснея, то бледнея.

— Ты . . . ты, Фома! . . — задыхаясь, начала она, и вдруг, топнув ногой, крикнула ему:

— Не смей говорить со мной!

На пороге комнаты она обернула к нему гневное лицо и вполголоса, кинула:

— У, ненавистник! . .

Фома засмеялся. Ему не хотелось итти туда за стол, где сидят трое счастливых людей. Он слышал их веселые голоса, довольный смех, звон посуды и понимал, что ему, с тяжестью на сердце, не место рядом с ними. И нигде ему нет места. Постояв одиноко среди комнаты, Фома решил уйти из дома, где люди радовались. Выйдя на улицу, он почувствовал обиду на Маякиных: все таки это были единственные на свете люди, близкие ему. Пред ним встало лицо крестного, дрожащие от возбуждения морщины, освещаемые радостным блеском его зеленых глаз.

«В темноте и гнилушка светит», — злостно думал он. Потом ему вспомнилось спокойное, серьезное лицо Тараса и рядом с ним

напряженно стремящаяся к нему фигура Любы. Это возбудило в нем зависть и — грусть.

«Кто на меня так посмотрит? . .»

Он очнулся от своих дум на набережной, у пристаней, разбуженный шумом труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары; люди двигались спешно, озабоченно, понукали лошадей раздражаясь, кричали друг на друга, наполняли улицу бестолковой суетой и оглушающим шумом торопливой работы. Они возились на узкой полосе земли, вымощенной камнем, с одной стороны застроенной высокими домами, а с другой обрезанной крутым обрывом к реке, кипучая возня производила на Фому такое впечатление, как будто все они собрались бежать куда-то от этой работы в грязи, тесноте и шуме, — собрались бежать и спешат как-нибудь скорее окончить не доделанное и не отпускающее их от себя. Их уже ждали огромные пароходы, стоя у берегов, выпуская из труб клубы дыма. Мутная вода реки, тесно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берег, точно просила дать и ей минутку покоя и отдыха . . .

С одной из пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая «дубинушка». Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрых движений, и подгоняли к ним запевку и припев.

«В кабаках купцы большие
Пью-ют наливочки густые», —

бойким речитативом рассказывал запевала. Артель дружно подхватывала:

«Ой, да дубинушка, ухнем!»

И потом басы кидали в воздух твердые звуки:

«Идет, идет . . .»

А тенора вторили им:

«Идет, идет . . .»

Фома вслушался в песню и пошел к ней на пристань. Там он увидал, что крючники, вытянувшись в две линии, выкатывают на веревках из трюма парохода огромные бочки. Грязные, в красных рубахах с расстегнутыми воротами, в рукавицах на руках, обнаженных по локоть, они стояли над трюмом и шутя, весело, дружно, в такт песне, дергали веревки. А из трюма выносился высокий, смеющийся голос невидимого запевалы:

— «А мужицкой нашей глотке
Не-е хватает вдоволь водки . . .»

И артель громко и дружно, как одна большая грудь, вздыхала:

«Э-эх, ду-убинушка, ухнем!»

Фоме было приятно смотреть на эту стройную, как музыка, работу. Чумазые лица крючников светились улыбками, работа была легкая, шла успешно, а запевала находился в ударе. Фоме думалось, что хорошо бы вот так дружно работать с добрыми товарищами под веселую песню, устать от работы, выпить стакан водки и поесть жирных щей, изготовленных дородной и разбитной артельной маткой . . .

— Проворне, ребята, проворне! — раздался рядом с ним неприятный, хриплый голос. Фома обернулся. Толстый человек с большим животом, стукая в палубу пристани палкой, смотрел на крючников маленькими глазками. Лицо и шея у него были облиты потом; он поминутно вытирал его левой рукой и дышал так тяжело, точно шел в гору.

Фома неприязненно посмотрел на этого человека и подумал:

«Люди работают, а он потеет . . . А я — еще его хуже . . .»

Из каждого впечатления у Фомы сейчас же выделялась колкая мысль об его неспособности к жизни. Все, на чем останавливалось его внимание, имело что-то обидное для него, и это обидное кирпичом ложилось на грудь ему.

Вечером он снова зашел к Маякиным. Старика не было дома, и в столовой за чаем сидела Любовь с братом. Подходя к двери, Фома слышал сиплый голос Тараса:

— Что же заставляет отца возиться с ним?

При виде Фомы он замолчал, уставившись в лицо его серьезным, испытующим взглядом. На лице Любови ясно выразилось смущение, и она, как бы извиняясь, сказала Фоме:

— А! Это ты . . .

«Про меня шла речь!» — сообразил Фома, подсаживаясь к столу.

Тарас отвел от него глаза и уселся в кресло поглубже. С минуту продолжалось неловкое молчание, и оно было приятно Фоме.

— Ты на обед пойдешь? — спросила наконец Любовь.

— На какой? . . .

— Разве не знаешь? Кононов новый пароход освящает . . . Молебен будет, а потом поедут вверх по Волге . . .

— Меня не звали, — сказал Фома.

— Никого не звали . . . Просто он на бирже пригласил — кому угодно почтить меня, — пожалуйте!

— Мне не угодно . . .

— Да? Смотри — вышивка будет там грандиозная, — искоса взглянув на него, сказала Любовь.

— Я и на свои напьюсь, коли захочу . . .

— Знаю! — выразительно кивнув головой, сказала Любовь...

Тарас играл чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывал на них.

— А где крестный? — спросил Фома.

— В банк поехал . . . Сегодня заседание правления . . . Выборы будут . . .

— Опять его выберут? . .

— Разумеется . . .

И снова разговор оборвался. Тарас, медленно, большими глотками выпил чай, и молча подвинув к сестре стакан, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стакан и начала усердно мыть его. Потом ее лицо приняло выражение напряженное, она вся как-то насторожилась и вполголоса, почти благоговейно спросила брата:

— Можно возвратиться к началу разговора?

— Пожалуйста! — кратко разрешил Тарас.

— Ты сказал — я не поняла — как это? Я спросила если все это — утопии по-твоему, если это невозможно . . . мечты . . . то что же делать человеку, которого не удовлетворяет жизнь?

Ее глаза с напряженным ожиданием остановились на спокойном лице брата. Он взглянул на нее, повозился на кресле и, опустив голову, спокойно и внушительно заговорил:

— Надо подумать, из какого источника является неудовлетворенность жизнью? . . Может быть это, от неумения трудиться . . . от недостатка уважения к труду? Или — от неверного представления о своих силах . . . Несчастие большинства людей в том, что они считают себя способными на бо́льшее, чем могут . . . А между тем от человека требуется — не много: он должен избрать себе дело по силам и делать его как можно лучше . . . Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества . . . Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный

стул . . . И так — во всем . . . Ты почитай Смайльса — не читала? Очень дельная книга . . . Здоровая книга . . . Леббока «Радости жизни» почитай . . . Вообще помни, что англичане самая трудоспособная нация, чем и об'ясняется их изумительный успех в области промышленной и торговой . . . У них труд — почти культ . . . Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду . . . А чем выше культура, — тем глубже удовлетворены потребности людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей человека . . . Счастие — возможно полное удовлетворение потребностей . . . Вот . . . И, как видишь, счастье человеку обусловлено его отношением к своему труду . . .

Тарас Маякин говорил так медленно и тягуче, точно ему самому было неприятно и скучно говорить. А Любовь, нахмурив брови и вытянувшись по направлению к нему, слушала речь его с жадным вниманием в глазах, готовая все принять и впитать в душу свою.

— Ну, а ежели человеку все противно? . . заговорил Фома.

— Что, именно, противно? — спросил Маякин спокойно и не взглянув на Фому.

Тот наклонил голову, уперся руками в стол и так, быком, продолжал из'ясняться:

— Все — не по душе . . . Дела . . . труды . . . люди . . . Ежели, скажем, я вижу, что все — обман . . . Не дело, а так себе — затычка . . . Пустоту души затыкаем . . . Одни работают, другие только командуют и потеют . . . а получают за это больше . . . Это зачем же так? а?

— Не могу уловить вашу мысль! . . — заявил Тарас, когда Фома остановился, чувствуя на себе пренебрежительный и сердитый взгляд Любови.

— Не понимаете? — с усмешкой посмотрев на Тараса, спросил Фома. — Ну . . . скажем так: едет человек в лодке по реке . . . Лодка, может быть, хорошая, а под ней все таки глубина . . . Лодка — крепкая . . . но ежели человек глубину эту темную под собой почувствует . . . никакая лодка его не спасет . . .

Тарас смотрел на Фому, раднодушно и спокойно. Смотрел, молчал и тихо постукивал пальцами по краю стола. Любовь беспокойно вертелась на стуле. Маятник часов глухим, вздыхающим звуком отбивал секунды. И сердце Фомы билось мед-

ленно и тяжко, чувствуя, что здесь никто не откликнется теплым словом на его тяжелое недоумение.

— Работа — еще не все для человека . . . — говорил он скорее себе самому, чем этим людям. — Это не верно, что в трудах — оправдание . . . Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящих . . . это как? А трудящие — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят . . . больше ничего! . . Но они имеют пред Богом свое оправдание . . . Их спросят: вы для чего жили, а? Они скажут . . . нам некогда было думать насчет этого . . . мы всю жизнь работали! А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?

Он помолчал и, вскинув голову, воскликнул глухим голосом:

— Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и — умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой . . . Человек родился, пожил и помер — зачем? Нужно сообразить — зачем живем? Толку нет в жизни нашей . . . Потом — не ровно все — это сразу видно! Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют . . . и живут без дела . . . другие — всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша . . . А между тем разница в людях — малая . . . Иной — без штанов живет, а рассуждает, так ровно в шелки одет . . .

Охваченный своими мыслями, Фома долго бы излагал их, но Тарас отодвинул свое кресло от стола, встал и со вздохом, негромко произнес:

— Нет, спасибо! . . Больше не хочу . . .

Фома круто оборвал свою речь и повел плечами, с усмешкой взглянув на Любовь.

— Откуда это ты набрался такой философии? — спросила она недоверчиво и сухо.

— Это не философия . . . Это . . . наказание! — вполголоса сказал Фома. — Открой глаза и смотри на все — тогда это само в голову полезет . . .

— Вот кстати, Люба, обрати внимание, — заговорил Тарас, стоя спиной к столу и рассматривая часы, — пессимизм совершенно чужд англо-саксонской расе . . . То, что называют пессимизмом Свифта и Байрона, — только жгучий, едкий протест

против несовершенства жизни и человека . . . А холодного, рассудочного и пассивного пессимизма у них не встретишь . . .

Затем, как бы вдруг вспомнив о Фоме, он обернулся к нему, заложил руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказал:

— Вы поднимаете очень важные вопросы . Некоторые считают их детскими . . . Если они серьезно занимают вас — вам надо почитать книг . . . В них вы найдете не мало ценных суждений о смысле жизни . . . Вы — читаете книги?

— Нет! — кратко ответил Фома. — Не люблю . . .

— Но однако они могли бы кое в чем помочь вам . . . — сказал Тарас, и по губам его скользнула улыбка . . .

— Если люди помочь мне в мыслях моих не могут — книги и подавно! . . — угрюмо проговорил Фома.

Ему стало скучно с этим равнодушным человеком. Он хотел бы уйти, но в то же время ему хотелось сказать Любови что-нибудь обидное об ее брате, и он ждал, не выйдет ли Тарас из комнаты. Любовь мыла посуду; лицо у нее было сосредоточенно и задумчиво, руки двигались вяло. Тарас, расхаживая по комнате, останавливался перед горками с серебром, посвистывал, щелкал пальцами по стеклу и рассматривал вещи, прищуривая глаза. Фома, заметив, что Любовь несколько раз вопросительно, с неприязнью и ожиданием взглянула на него, понял, что он стесняет ее.

— Я у вас ночую . . . — сказал он, улыбаясь ей. — Надо мне поговорить с крестным. Да и скучно дома одному . . .

— Так ты поди, скажи Марфуше, чтоб она приготовила тебе постель в угловой . . . — торопливо посоветовала Любовь.

— Могу . . .

Он встал и вышел из столовой. И тотчас же услыхал, что Тарас негромко спросил сестру о чем-то.

«Про меня» — подумал он. Вдруг в голове его мелькнула злая мысль: — «Послушать, что скажут умные люди . . .»

Он бесшумно прошел в другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тут не было, лишь узкая лента света из столовой, проходя сквозь неприкрытую дверь, лежала на темном полу. Фома тихо, с замиранием в сердце, подошел вплоть к двери и остановился . . .

— Тяжелый парень . . . — сказал Тарас.

Пониженно, торопливо заговорила Любовь:

— Он тут все кутил . . . Безобразничал — ужасно! Вдруг, как-то, началось у него . . . Сначала избил в клубе зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтоб загасить скандал. Хорошо еще, что избитый оказался человеком дурной репутации . . . Однако слишком две тысячи стоило это отцу . . . А пока отец хлопотал по поводу одного скандала, Фома чуть не утопил целую компанию на Волге.

— Вот чудовище! И занимается исследованиями о смысле жизни . . .

— Другой раз, ехал на пароходе с компанией таких же, как сам, кутил, и вдруг говорит им: молитесь Богу! Всех вас сейчас пошвыряю в воду! Он страшно сильный . . . Те — кричать . . . А он: хочу послужить отечеству, хочу очистить землю от дрянных людей . . .

— Это остроумно!

— Ужасный человек! Сколько он натворил за эти годы диких выходок . . . Сколько прожил денег!

— Скажи — отец управляет его делом на каких условиях — — не знаешь?

— Не знаю! У него полная доверенность есть . . . А что?

— Так . . . Солидное дело! Разумеется, поставлено оно по-русски — отвратительно . . . И тем не менее — прекрасное дело! Если им заняться как следует.

— Фома совершенно ничего не делает . . . Все в руках отца . . .

— Да?

— Знаешь, порой мне кажется, что у Фомы это . . . вдумчивое настроение, речи эти — искренни, и что он может быть очень . . . порядочным! . . Но я не могу помирить его скандальной жизни с его речами и суждениями . . .

— Да и не стоит об этом заботиться . . . Недоросль и лентяй — ищет оправдания своей лени . . .

— Нет, видишь ли, иногда он бывает — как ребенок . . .

— Я и сказал: недоросль. Стоит ли говорить о невежде и дикаре, который сам хочет быть дикарем и невеждой? Ты видишь: он рассуждает так же, как медведь в басне оглобли гнул . . .

— Очень ты строг . . .

— Да, я строг! Люди этого требуют . . . Мы все, русские,

отчаянные распустехи . . . К счастью, жизнь слагается так, волей-неволей, мы понемножку подтягиваемся . . . Мечты — юношам и девам, а серьезным людям — серьезное дело . . .

— Иногда мне очень жалко Фому . . . Что с ним будет?

— Ничего не будет особенного — ни хорошего, ни дурного . . . Проживет деньги, разорится . . . Э, ну его! Такие, как он, теперь уж редки . . . Теперь купец понимает силу образования... А он, этот твой молочный брат, он погибнет . . .

— Верно, барин! — сказал Фома, появляясь на пороге. Бледный, нахмурив брови, скривив губы, он в упор смотрел на Тараса и глухо говорил: — Верно! Пропаду я и — аминь! Скорее бы только!

Любовь со страхом на лице вскочила со стула и подбежала к Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунув руки в карманы.

— Фома! О! Стыдно! Ты подслушивал, — ах, Фома! — растерянно говорила она.

— Молчи! Овца!

— Н-да, подслушивать у дверей не хорошо-о! — медленно выговорил Тарас, не спуская с Фомы пренебрежительного взгляда.

— Пускай не хорошо! — махнув рукой, сказал Фома. — Али я виноват в том, что правду только подслушать можно?

— Уйди, Фома! Пожалуйста! — просила Любовь, прижимаясь к брату.

— Вы, может быть, имеете что-нибудь сказать мне? — спокойно спросил Тарас.

— Я? — воскликнул Фома. — Что я могу сказать? Ничего не могу! . . Это вы вот — вы, все можете . . .

— Значит, вам со мной не о чем разговаривать? — снова спросил Тарас.

— Нет!

— Это мне приятно . . .

Он повернулся боком к Фоме и спросил у Любови:

— Как ты думаешь — скоро вернется отец?

Фома посмотрел на него и, чувствуя что-то похожее на уважение к этому человеку, осторожно пошел вон из дома. Ему не хотелось итти к себе, в огромный пустой дом, где каждый шаг его будил звучное эхо, и он пошел по улице, окутанной тоскливо-

серыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасе Маякине:

«Твердый . . . В отца, только не так суетлив . . . Чай, тоже — выжига . . . А Любка — чуть ли не святым его считала — дуреха! Как он меня отчитывал! Судья . . . Она — добрая ко мне! . .»

Но все эти мысли не возбуждали в нем ни обиды против Тараса, ни симпатии к Любови.

Вот мимо него промчался рысак крестного. Фома видел маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не возбудила в нем ничего. Фонарщик пробежал, обогнал его, подставил лестницу к фонарю и полез по ней. А она вдруг поехала под его тяжестью, и он, обняв фонарный столб, сердито и громко обругался. Какая-то девушка толкнула Фому узлом в бок и сказала:

— Ах, извините . . .

Он взглянул на нее и ничего не ответил. Потом с неба посыпалась изморось, — маленькие, едва видные капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазинов сероватой пылью. От этой пыли стало тяжело дышать . . .

— К Ежову, что ли, пойти ночевать? Выпить с ним . . . — подумал Фома и пошел к Ежову, не имея желания ни видеть фельетониста, ни пить . . .

У Ежова на диване сидел лохматый человек в блузе, в серых штанах. Лицо у него было темное, точно копченое, глаза, неподвижные и сердитые, над толстыми губами торчали щетинистые солдатские усы. Сидел он на диване с ногами, обняв их большущими ручищами и положив на колени подбородок. Ежов уселся боком в кресле, перекинув ноги через его ручку. Среди книг и бумаг на столе стояла бутылка водки, в комнате пахло соленой рыбой.

— Ты что бродишь? — спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: — Гордеев!

Тот взглянул на вошедшего и резким, скрипящим голосом сказал:

— Краснощеков . . .

Фома сел в угол дивана, об'явив Ежову:

— Я ночевать пришел . . .

— Ну, так что? Говори дальше, Василий . . .

Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел:

— По-моему, вы напрасно наваливаетесь так на глупых-то людей — Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид — тоже дурак, наверно . . . однако, кабы он не воткнул в себя имперских пик, — швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков! Однако — они герои . . . А умники-то — трусы . . . Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он соображает: а что отсюда выйдет? а как бы даром не пропасть? И стоит перед делом, как кол . . . пока не околеет. Дурак — он храбрый! Прямо лбом в стену — хрясь! Разобьет башку — ну что ж? Телячьи головы не дороги . . . А коли он трещину в стене сделает, — умники ее в ворота расковыряют, пройдут и — честь себе припишут! . . Нет, Николай Матвеич, храбрость дело хорошее и без ума . . .

— Василий, ты говоришь глупости! — сказал Ежов, протягивая к нему руку.

— А, конечно! — согласился Василий. — Где мне лаптем щи хлебать . . . А все таки я не слепой . . . И вот вижу: ума много, а толку нет.

— Подожди! — сказал Ежов.

— Не могу! У меня сегодня дежурство . . . Я и то, чай, опоздал . . . Я завтра зайду, — можно?

— Валяй! Я тебя распатроню!

— Такое ваше дело . . .

Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснул ее.

— Прощайте!

Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь.

— Видал? — спросил Ежов у Фомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.

— Что за человек?

— Помощник машиниста, Васька Краснощеков . . . Вот возьми с него пример: пятнадцати лет начал грамоте учиться, а в двадцать восемь прочитал, чорт его знает, сколько хороших книг, да два языка изучил в совершенстве . . . За границу едет . . .

— Зачем? — спросил Фома.

— Учиться, посмотреть, как там люди живут . . . А ты вот — киснешь . . .

— Насчет дураков дельно он говорил! — задумчиво сказал Фома.

— Не знаю, ибо я — не дурак . . .

— Дельно! Тупому человеку надо сразу действовать . . . Навалился, опрокинул . . .

— Пошла писать губерния! — воскликнул Ежов. — Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?

— Правда . . . А что?

— Ничего!

— По роже твоей видать, есть что-то . . .

— Знаем мы этого сына — слышали о нем . . . На отца похож?

— Круглее . . . серьезности больше . . . такой холодный!

— Ну, ты, брат, смотри теперь в оба! А то они тебя огложут . . . Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтяпал . . .

— Пусть и меня обтяпает, коли хочет. Я ему за это кроме спасиба ни слова не скажу . . .

— Это ты все о старом? Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен . . . Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб!

Ежов вскочил на ноги и, став против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя:

— Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллиг-генции, чор-рт ее побери! Я бы им сказал: букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой . . .

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожий на освирепевшее хищное животное.

— Я сказал бы им: вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и — трусы все вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька. Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на

их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы . . . О, уж тогда они страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком люблю, чтоб жалеть! А теперь они — не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе! . . Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия . . .

Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова стал пред Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкие и острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заражался его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, — глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.

— Я знаю меру сил моих, я знаю — мне закричат: молчать! Скажут: цыц! Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут . . . Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики . . . Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: да, я неуч! И первое мое преимущество пред вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки, он, носящий в себе весь мир! А вы, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда есть содержание, понятное вам, — вы, зачастую, ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилуете душу . . . За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте: разразится буря, и она сметет и смоет вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!

— Круши! — взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами он заглядывал в лицо Ежова,

наклонясь к нему, и с тоской, с горестью почти застонал: — Э-эх! Николка . . . Милый, жаль мне тебя до смерти! Так жаль — сказать не могу!

— Что такое? Что ты? — отталкивая его, крикнул Ежов, удивленный и сбитый неожиданным порывом и странными словами Фомы.

— Эх, брат! — говорил Фома, понижая голос, отчего он становился убедительнее и гуще. — Живая ты душа, — за что пропадаешь?

— Кто? Я? Пропадаю? Врешь!

— Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто тебя услышит? Только я вот . . .

— Пошел ты к чорту! — злобно крикнул Ежов, отскакивая от него, как обожженный.

А Фома говорил убедительно и с великой грустью:

— Ты говори, говори мне! Я вынесу твои слова, куда надо . . . Я их понимаю . . . И, ах, как ожгу людей! Погоди только! . . Придет мне случай! . .

— Уйди — истерически закричал Ежов, прижавшись спиной к стене. Он стоял растерянный, подавленный, обозленный и отмахивался от простертых к нему рук Фомы. А в это время дверь в комнату отворилась и на пороге стала какая-то вся черная женщина. Лицо у нее было злое, возмущенное, щека завязана платком. Она закинула голову, протянула к Ежову руку и заговорила с шипением и свистом:

— Николай Матвеевич! Извините — это невозможно! Зверский вой, рев! . . Каждый день гости . . . Полиция ходит . . . Нет, я больше терпеть не могу! У меня нервы . . . Извольте завтра очистить квартиру . . . Вы не в пустыне живете — вокруг вас — люди! . . Всем людям нужен покой . . . У меня — зубы . . . Завтра же, прошу вас . . .

Она говорила быстро, большая часть ее слов исчезала в свисте и шипении; выделялись лишь те слова, которые она выкрикивала визгливым, раздраженным голосом. Концы платка торчали на голове у нее, как маленькие рожки, и тряслись от движения ее челюсти. Фома при виде ее взволнованной и смешной фигуры опустился на диван. Ежов стоял и, потирая лоб, с напряжением вслушивался в ее речь . . .

— Так и знайте! — крикнула она, а за дверью еще раз сказала: — Завтра же! Безобразие . . .

— Ч-чорт! — прошептал Ежов, тупо глядя на дверь.

— Н-да-а! Строго! — удивленно поглядывая на него, сказал Фома.

Ежов, подняв плечи, подошел к столу, налил половину чайного стакана водки, проглотил ее и сел у стола, низко опустив голову. С минуту молчали. Потом Фома робко и негромко сказал:

— Как все это произошло . . . глазом не успели моргнуть и — вдруг такая разделка . . . а?

— Ты! — вскинув голову, заговорил Ежов вполголоса, озлобленно и дико глядя на Фому. — Ты молчи! Ты — чорт тебя возьми . . . Ложись и спи! . . Чудовище . . . Кошмар . . . у!

Он погрозил Фоме кулаком. Потом налил еще водки и снова выпил . . .

Через несколько минут Фома, раздетый, лежал на диване и сквозь полузакрытые глаза следил за Ежовым, неподвижно в изломанной позе сидевшим за столом. Он смотрел в пол, и губы его тихо шевелились . . . Фома был удивлен — он не понимал, за что рассердился на него Ежов? Не за то же, что ему отказали от квартиры? Ведь он сам кричал . . .

— О, дьявол! . . — прошептал Ежов и заскрипел зубами.

Фома осторожно поднял голову с подушки. Ежов, глубоко и шумно вздыхая, снова протянул руку к бутылке . . . Тогда Фома тихонько сказал ему:

— Пойдем лучше куда-нибудь в гостиницу . . . Еще не поздно . . .

Ежов посмотрел на него и странно засмеялся, потирая голову руками. Потом встал со стула и кратко сказал Фоме:

— Одевайся! . .

И видя, как медленно и неуклюже Фома заворочался на диване, он нетерпеливо и со злобой закричал:

— Ну, скорее возись! . . Оглобля символическая!

— А ты не ругайся! — миролюбиво улыбаясь, сказал Фома. — Стоит ли сердиться из-за того, что баба расквакалась?

Ежов взглянул на него, плюнул и резко захохотал . . .

XIII.

— Все ли здеся? — спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. — Кажись все!

И подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:

— Отваливай, Петруха!

— Есть! . .

Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой, черной бороде, крякнул и скомандовал:

— Назад! Тихий!

Гости следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц.

— Благослови-ко, Господи! — умиленно воскликнул Кононов.

— Отдай кормовую! Вперед! — командовал капитан.

Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом выпустил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения.

— Эк пошел! — с восхищением сказал коммерции советник Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. — Не дрогнул! Как барыня в пляс!

— Левиафан! благочестиво вздыхая, молвил рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик.

День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-красными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной торжествующей улыбкой.

— Господа почтенная компания! — сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. — Как теперь мы, так сказать, воздали Богу — Богови, то позвольте, дабы музыканты воздали кесарю — кесарево!

И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул:

— Музыка! «Славься» играй!

Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.

А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном животе.

— Славься, сла-авься, наш русский царь — тра-ра-та! Бум!

— Прошу, господа, за стол! Пожалуйте! Чем Бог послал . . . Покорнейше прошу . . . — приглашал Кононов, толкаясь в тесной группе гостей.

Их было человек тридцать, все солидные люди, цвет местного купечества. Те, которые были постарше, — лысые и седые, — оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно, уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, — не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода — все это раздражало его.

Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрашивал его итти к Кононову на молебен и обед?

Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке и всю службу наблюдал за купцами.

Они стояли в благоговейном молчании; лица их были благочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них.

Вот Луп Резников, — он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка . . . Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним — второй уже раз, по такому же обвинению — привлечен к делу и Захар Кириллов Робустов, — толстый, низенький купец с круглым лицом и веселыми, голубыми глазами . . . Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.

Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом, торговом деле, все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки . . . Но теперь, собравшись вокруг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно-молчаливые и окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, — чем-то таким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость пред ними.

«Обманщики» . . . — думал он, ободряя себя.

А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие, черные камни.

«Притворяются!» — восклицал про себя Фома. А стоявший о бок с ним горбатый и кривой Павлин Гущин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:

— «Го-осподи! Да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене . . .»

И Фома чувствовал, что человек этот взывает к Богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость Его.

— «Господи Боже отец наших, заповедавый Ною, рабу Твоему, устроити кивот ко спасению мира . . .» — густым басовым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: — «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна . . . хотящие плыти на нем сохрани . . .»

Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло

груди свои знамением креста, и на всех лицах выражалось одно чувство — веры в силу молитвы . . .

Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость Бога, были так жестки к человеку.

Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко-прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову:

— Иона Никифорыч! Гляди — кит! Вполне для твоей особы футляром может быть . . . а? Как нога в сапог влезешь, а? Хе-хе!

Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки пред собой, боясь опрокинуть их.

Против Кононова, на козлах стоял боченок старой водки, выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паштет, сделанный в виде башни.

— Господа! Прошу! Кто чего желает! — кричал Кононов. — У меня все сразу пущено, — что, кому по душе . . . Русское наше, родное — и чужое, иностранное . . . все сразу! Этак-то лучше . . . Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих — а? Из Индии, говорит . . .

А Зубов говорил своему соседу, Маякину:

— Молитва «Во еже устроити корабль» к буксирному и речному пароходу не подходяща, то-есть не то — не подходяща, — а одной ее мало! . . Речной пароход, место постоянного жительства команды, должен быть приравнен к дому . . . Стало быть, потребно окромя молитвы «Во еже устроити корабль» — читать еще молитву на основание дома . . . Ты чего выпьешь однако?

— Я человек не винный, налей мне водочки тминной! . . — ответил Яков Тарасович.

Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то-и-дело чувствовал на себе острые взгляды старика.

— «Боится, что наскандалю . . .» — думал Фома.

— Братцы! — хрипел безобразно толстый пароходчик Ящуров. — Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начинаю . . . у меня такая природа! . .

— Музыка! Вали «Персидский марш» . . .

— Стой! лучше — «Коль славен» . . .

— Дуй «Коль славен» . . .

Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов в большой — все это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских голосов и неслось за пароходом, как ураган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздраженное и презрительное . . .

— А что ты вексель отказался мне учесть — этого я по гроб не забуду! — кричал кто-то неистовым голосом.

— Бу-удет! разве здесь счетам место? — раздавался бас Боброва.

— Братцы! Надо речи говорить!

— Музыка — цыц!

— Ты приди ко мне в банк, я тебе и об'ясню, почему не учел...

— Речь! Тише . . .

— Му-узыка, переста-ать!

— «Во лузях!» . . .

— «Мадам Ангу! . . .»

— Не надо! Яков Тарасыч — просим!

— Это называется — страсбургский пирог . . .

— Просим! Просим!

— Пирог? Н-не похоже . . . ну, все-таки я поем! . .

— Тарасыч! Действуй . . .

— Братцы мои! Весело! Ей-Богу . . .

— А в «Прекрасной Елене» она, голубчик, выходила совсем почти голенькая . . . — вдруг прорвался сквозь шум тонкий и умиленный голос Робустова.

— Погоди! Иаков Исава — надул? Ага!

— Тарасыч! Не ломайся!

— Тише! Господа! Яков Тарасович скажет слово!

И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то громкий, негодующий шопот:

— Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет . . .

А Бобров спросил громким басом:

— З-за к . . . какое место?

Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривал купечество ожидающим внимания, серьезным взглядом.

— Ну, братцы, разевай уши! — с удовольствием крикнул Кононов.

— Господа купечество! — заговорил Маякин, усмехаясь. — Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души . . .

— Смирно! . .

— Милостивые государи! — повысив голос, говорил Маякин. — В газетах про нас, купечество, то-и-дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми . . . Что же это такое — культура? Обидно мне, старику, слушать этакие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова — что оно в себе заключает?

Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествующе усмехнувшись, раздельно продолжал:

— Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. Так! — подумал я, — так! — Значит — культурный человек тот будет, который любит дело и порядок . . . который вообще — жизнь любит устраивать, жить любит, цену себе и жизни знает . . . Хорошо! — Яков Тарасович вздрогнул; морщины разошлись по лицу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звезду.

Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.

— Но, коли так, — а именно так надо толковать это слово, — коли так, то — люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не

смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то-есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, — мы же действие . . . И вот, господа купечество, пример нашей культуры, — любви к делу, — Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас . . . Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят . . . Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходищи, баржи, — чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все — наше, тут все — плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбой и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше . . . Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы! . . Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит — тот говорит . . . — он смачно выговорил похабное слово — и больше ничего! Пускай! Дует ветер — шумит ветла, перестал — молчит ветла . . . И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы — бесполезное дерево! От бесполезности и шум . . . Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно . . . А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые все сделали и все могут сделать, — вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот, свой, полный бокал — за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество . . . Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!

Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили

из грудей такой дружный, массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось.

— Яков! Труба ты Божия! — кричал Зубов, протягивая свой бокал Маякину.

Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.

— А? Что это сказано? — спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его. — Ты — пойми! Великая сказана речь!

— Яков! Дай — облобызаю!

— Качать Маякина!

— Музыка, играй . . .

— Туш! Марш . . . Персидский! . .

— Не надо музыку! К чорту!

— Тут вот она, музыка! Эх, Маякин!

— Мал бех во братии моей . . . но ума имамы . . .

— Врешь, Трофим!

— Яков! Умрешь ты скоро — жаль! Так жаль . . . нельзя сказать!

— Ну, какие же это будут похороны!

— Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу!

— Молчать, Погодите!

— Господа! — весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. — И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящие хозяева в своем отечестве, что мы — мужики!

— Веррно!

— Так! Ммать честная! Ну, старик!

— Дай сказать . . .

— Мы — коренные русские люди, и все, что от нас, — коренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее — самое полезное и обязательное . . .

— Как дважды два!

— Просто!

— Мудр, яко змий!

— И кроток, яко . . .

— Ястреб! Ха-ха!

Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спо-

койно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голосов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал:

— Кам-маринского! Русскую! . .

— Это мы все сделали! — кричал Яков Тарасович, указывая на реку. — Наше все! Мы жизнь строили!

Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:

— А! Это вы? Ах вы . . .

И вслед затем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услыхали его и на секунду — замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

— Это кто лается? — спросил Кононов, нахмурив брови . . .

— Эх! Не можем не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

— Гордеев! . . — тихо сказал Иона Юшков . . .

И все головы поворотились куда смотрел Яков Маякин.

Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по волчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду.

— Что вытаращили зенки? — спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

— Упился! — качнув головой, сказал Бобров.

— И зачем его пригласили? — тихо шептал Резников.

— Фома Игнатьевич! — степенно заговорил Кононов. — Безобразить не надо . . . Ежели . . . тово . . . голова кружится — поди, брат, тихо, мирно в каюту и — ляг! Ляг, милый, и . . .

— Цыц, ты! — зарычал Фома, поводя на него глазами. — Не смей со мной говорить! Я не пьян — я всех трезвее здесь! Понял?

— Да ты погоди-ка, душа — тебя кто звал сюда? — покраснев от обиды, спросил Кононов.

— Это я его привел! — раздался голос Маякина . . .

— А! Ну, тогда, — конечно! . . Извините, Фома Игнатьевич . . . Но как ты его, Яков, привел . . . тебе его и укротить надо . . . А то — нехорошо . . .

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

— Эх, Фомка! — заговорил Маякин. — Опять ты позоришь старость мою . . .

— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома. — Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать . . . Я не пьян, — я не пил, а все слушал . . . Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте . . .

— Какие речи? — сказал Резников. — Зачем разговоры? Сошлись повеселиться . . .

— Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич . . .

— Лучше выпей чего-нибудь . . .

— Выпьем-ко! Ах, Фома . . . славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых, красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он твердо и с угрозой. — Будете слушать или нет, а я говорить буду . . . Выгнать здесь меня некуда . . .

Он качнул головой и, приподняв плечи, об'явил спокойно:

— Но ежели кто пальцем тронет — убью! Клянусь Господом Богом — сколько смогу — убью!

Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шопот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми . . .

— Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали . . . что вы сделали самое настоящее и верное . . .

Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел

лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли . . . Купечество молчало, все плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал:

— Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума?

— О, с-сволочи! — воскликнул Гордеев, качая головой. — Что вы сделали? Не жизнь вы сделали — тюрьму . . . Не порядок вы устроили — цепи на человека выковали . . . Душно, тесно, повернуться негде живой душе . . . Погибает человек! . . Душегубы вы . . . Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?

— Это что же такое? — воскликнул Резников, в негодовании и гневе всплескивая руками. — Я таких речей слышать не могу...

— Гордеев! — закричал Бобров. — Смотри — ты говоришь неладно . . .

— За такие речи ой-ой-ой! — внушительно сказал Зубов.

— Цыц! — взревел Фома, и глаза у него налились кровью. — Захрюкали . . .

— Господа! — зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно-зловещий голос Маякина. — Покорнейше прошу — не препятствуйте! Пусть полает, — пусть его потешится! . . От его слов вы не изломитесь . . .

— Ну, нет, покорно благодарю! — крикнул Юшков.

А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо:

— Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел!

— Пошел прочь! — твердо сказал Фома, блеснув на него гневными глазами. — Иди-вон к Маякину, лижи его, авось кусок перепадет!

Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону. И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их к месту своими словами и — не находил в себе таких сильных слов.

— Вы сделали жизнь? — крикнул он. — Кто вы? Мошенники, грабители . . .

Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позвал.

— Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторгу осудят, — прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь . . . В Сибирь на казенном повезут . . .

Кононов опустился на стул; лицо его налилось кровью, и он молча погрозил кулаком. Фома хрипло сказал:

— Ладно . . . хорошо . . . я этого не-е забуду . . .

Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами и понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих людей.

— Строители жизни! Гущин — подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день . . . не мало — украл ты у них . . . Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела — сыну бы отдал . . . все равно, он теперь с другой твоей шашни завел . . . А ты не знал? Эх, свинья толстая . . . А ты, Луп — открой опять веселый дом, да и лупи там гостей, как липки . . . Потом тебя черти облупят, ха-ха! . . С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть! . . Кого ты убил тогда, Луп?

Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, что слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когда он держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отходили в сторону, собирались в группы и издали смотрели на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Он видел улыбки на их лицах, он чувствовал в каждом их движении что-то пренебрежительное и понимал, что слова его хотя и злят их, но не задевают так глубоко, как бы ему хотелось. Все это охлаждало его гнев, и уже в нем зарождалось горькое сознание неудачи своего нападения на них . . . Но как только он заговорил о каждом отдельно, — отношение слушателей к нему быстро и резко изменилось.

Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав тяжести суровых слов Фомы, — Фома заметил, что на лицах некоторых из купцов мелькнули едкие и злые улыбки. Он услышал чей-то одобрительный и удивленный шопот:

— Вот — здо́-орово!

Этот шопот придал силы Фоме, и он с уверенностью начал швырять насмешки и ругательства в тех, кто попадался ему на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. Его слушали молча, внимательно; несколько человек подвинулись поближе к нему.

Раздавались протестующие восклицания, но не громкие, краткие, и каждый раз, когда Фома выкрикивал чье-либо имя, — все молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали в сторону обличаемого товарища.

Бобров — смущенно смеялся, но его маленькие глазки свер-

лили Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил:

— Будьте свидетелями . . . Я этого не прощу! Я — к мировому . . . Что такое? — И вдруг тонким голосом завизжал, протянув к Фоме руки:

— Связать его! . .

Фома хохотал.

— Правду не свяжешь, врешь!

— Хо-орошо! — тянул Кононов глухим, надорванным голосом.

— Вот, господа купечество! — звенел Маякин. — Прошу полюбоваться! — Вот он каков!

Купцы один за другим подвигались к Фоме, и на лицах их он видел гнев, любопытство, злорадное чувство удовольствия, боязнь . . . Кто-то из тех скромных людей, среди которых он сидел, шептал Фоме:

— Так их! . . Валяйте их! Это зачтется . . .

— Робустов! — кричал Фома. — Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге . . .

— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги.

А Кононов кричал капитану:

— Назад! В город! К губернатору . . .

И кто-то внушительно, дрожащим от волнения голосом говорил:

— Это подстроено . . . Это нарочно . . . Научили его . . . напоили для храбрости . . .

— Нет, это бунт!

— Вяжи его! Просто — вяжи его!

Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею в воздухе.

— Суньтесь-ка! Нет, уж видно придется вам послушать меня . . .

Он снова с веселой яростью, обезумевший от радости при виде того, как корчились и метались эти люди под ударами его речей, начал выкрикивать имена и площадные ругательства, и снова негодующий шум стал тише. Люди, которых не знал Фома, смотрели на него с жадным любопытством, одобрительно, некоторые даже с радостным удивлением. Один из них, маленький, седой старичок с розовыми щеками и мышиными глазками, вдруг обратился к обиженным Фомой купцам и сладким голосом пропел:

— Это — от совести слова! Это — ничего! Надо претерпеть... Пророческое обличение . . . Ведь грешны! Ведь, правду надо говорить, о-очень мы . . .

На него зашипели, а Зубов даже толкнул его в плечо. Он поклонился и — исчез в толпе . . .

— Зубов! — кричал Фома. — Сколько ты людей по миру пустил? Снится ли тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно подскочив на месте.

— А! Ты и меня? И — и меня?

И вдруг, надувши щеки, он с яростью начал грозить кулаком Фоме, визгливым голосом возглашая:

— Р-рече без-зумец в сердце своем — несть Бог! . . К архиерею поеду! Фармазон! Каторга тебе!

Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлобленных, растерявшихся, обиженных им людей чувствовал себя сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, размахивали руками, говорили что-то друг другу — одни красные от гнева, другие бледные, все одинаково бессильные остановить поток его издевательств над ними.

— Матросов! — кричал Резников, дергая Кононова за плечо. — Что ты, Илья? Пригласил нас на посмеяние?

Против одного щенка . . . — визжал Зубов.

Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая головами.

— Действуй, Яков! — громко говорил Робустов. — Мы все свидетели — валяй!

И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы:

— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы Бога? Пятак — ваш Бог! А совесть вы прогнали . . . Куда вы ее прогнали? Кровопийцы. Чужой силой живете . . . чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим . . . Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений . . .

Фома залился громким хохотом, и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Началась возня . . .

— По-опал! — произнес кто-то задыхающимся голосом.

— А-а? Вы — так? — хрипло крикнул Фома.

С полминуты целая куча черных тел возилась на одном месте, тяжело топая ногами, и из нее раздавались глухие возгласы:

— Вали его наземь! . .

— Руку держите . . . руку! О-ой . . .

— За-а бороду?

— Не бей! Не смей бить . . .

— Готов! . .

— Здоровый! . .

Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вытирая потные лица. Он, утомленный борьбой, обессиленный позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами.

Теперь настала очередь издеваться над ним. Начал Зубов. Он подошел к нему, потолкал его ногою в бок и сладким голосом, весь вздрагивая от наслаждения мстить, спросил:

— Что, пророк громоподобный, ась? Ну-ка восчувствуй сладость плена вавилонского, хе-хе-хе!

— Погоди . . . — хрипящим голосом сказал Фома, не глядя на него. — Погоди . . . отдохну . . . Языка вы мне не связали . . . — Но Фома уже понимал, что больше он ничего не может ни сделать, ни сказать. И не потому не может, что связали его, а потому, что сгорело в нем что-то, и — темно, пусто стало в душе . . .

К Зубову подошел Резников. Потом один за другим стали приближаться другие . . . Бобров, Кононов и еще несколько человек с Яковом Маякиным впереди ушли в рубку, негромко разговаривая о чем-то.

Пароход на всех парах шел к городу. От сотрясения его корпуса на столах дрожали и звенели бутылки, и этот дребезжащий жалобный звук был слышен Фоме яснее всего. Над ним стояла толпа людей и говорила ему злые и обидные вещи.

Но лица этих людей Фома видел как сквозь туман, и слова их не задевали его сердца. В нем, из глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унизительное . . .

— Ты подумай, — шарлатан ты! — что ты наделал с собой? — говорил Резников. — Какая теперь жизнь тебе возможна? Ведь теперь никто из нас плюнуть на тебя не захочет!

— Что я сделал? — старался понять Фома. Купечество стояло вокруг него сплошной темной массой . . .

— Н-ну, — сказал Ящуров, — теперь, Фомка, твое дело кончено . . .

— М-мы тебя . . . — тихо промычал Зубов.

— Развяжите! — сказал Фома.

— Ну, нет! Покорнейше благодарим!

— Позовите крестного . . .

Но Яков Маякин сам пришел в это время. Подошел, остановился над Фомой, пристально, суровыми глазами оглядел его вытянутую фигуру и — тяжело вздохнул.

— Ну, Фома . . .

— Велите развязать меня! — убитым голосом попросил Фома.

— Опять буянить будешь? Нет уж, полежи так . . . — ответил ему крестный.

— Я больше слова не скажу . . . клянусь Богом! Развяжите — стыдно мне! Ведь я не пьяный . . .

— Божишься, что не будешь буянить? — спросил Маякин.

— О Господи! Не буду . . . — простонал Фома.

Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда он поднялся, то посмотрел на всех и с жалкой улыбкой сказал тихонько:

— Ваша взяла . . .

— Всегда возьмет! — ответил ему крестный, сурово усмехаясь.

Фома, согнувшись, с руками связанными за спиной, молча пошел к столу, не поднимая глаз ни на кого. Он стал ниже ростом и похудел. Растрепанные волосы падали ему на лоб и виски, разорванная и смятая грудь рубахи высунулась из-под жилета, и воротник закрывал ему губы. Он вертел головой, чтобы сдвинуть воротник под подбородок, и — не мог сделать

этого. Тогда седенький старичок подошел к нему, поправил, что нужно, с улыбкой взглянул ему в глаза и сказал:

— Надо претерпеть . . .

Теперь, при Маякине, люди, издевавшиеся над Фомой, — молчали, вопросительно и с любопытством поглядывая на старика и ожидая от него чего-то. Он был спокоен, но глаза у него поблескивали как-то несообразно событию, — светло . . .

— Дайте водки мне! . . — попросил Фома, усевшись за стол и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была жалка и беспомощна. Вокруг него говорили вполголоса, ходили с какой-то осторожностью. И все поглядывали то на него, то на Маякина, усевшегося против него. Старик не сразу дал водки крестнику. Сначала он пристально осмотрел его, потом, не торопясь, налил рюмку и наконец, молча, поднес ее к губам Фомы. Фома высосал водку и попросил:

— Еще!

— Будет! . . — ответил Маякин.

И вслед затем наступила тяжелая для всех минута полного молчания. К столу подходили бесшумно, на цыпочках и, подойдя, вытягивали шеи, чтоб увидеть Фому.

— Ну, Фомка, понимаешь ты теперь, что наделал? — спросил Маякин. Говорил он тихо, но все слышали его вопрос.

Фома качнул головой и промолчал.

— Прощенья тебе — нет! — продолжал Маякин твердо и повышая голос. — Хотя все мы — христиане, но прощенья тебе не будет от нас. Так и знай . . .

Фома поднял голову и задумчиво сказал:

— А про вас, папаша, я забыл . . . Ничего вы не услышали от меня . . .

— Вот-с! — с горечью вскричал Маякин, указывая рукой на крестника. — Видите?

Раздался глухой протестующий ропот.

— Ну, да все равно! — со вздохом продолжал Фома. — Все равно! Ничего . . . никакого толку не вышло! . .

И он снова согнулся над столом.

— Чего ты хотел? — спросил крестный сурово.

— Чего? — Фома поднял голову, посмотрел на купцов и усмехнулся. — Хотел уж . . .

— Пьяница! Мерзец!

— Я — не пьян! — угрюмо возразил Фома. — Я всего выпил две рюмки . . . Я совсем трезвый был . . .

— Стало быть, — сказал Бобров, — твоя правда, Яков Тарасович: не в уме он . . .

— Я? — воскликнул Фома.

Но на него не обратили внимания. Резников, Зубов и Бобров наклонились к Маякину и тихо начали о чем-то говорить.

«Опека . . .» — уловил Фома одно слово . . .

— Я в уме! — сказал он, откидываясь на спинку стула и глядя на купцов мутными глазами. — Я понимаю, чего хотел. Хотел сказать правду . . . Хотел обличить вас . . .

Его вновь охватило волнение, и он вдруг дернул руки, пытаясь освободить их.

— Э-э! Погоди! — воскликнул Бобров, хватая его за плечи. — Придержите-ка его.

— Ну, держите! — с тоской и горечью сказал Фома. — Держите . . .

— Сиди смирно! — сурово крикнул крестный.

Фома замолчал. Все, что он сделал, — ни к чему не повело, его речи не пошатнули купцов. Вот они окружают его плотной толпой, и ему не видно ничего из-за них. Они спокойны, тверды, относятся к нему, как к буяну, и что-то замышляют против него. Он чувствовал себя раздавленным этой темной массой крепких духом, умных людей . . . Сам себе он казался теперь чужим и непонимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал. Он даже чувствовал обидное что-то, похожее на стыд за себя пред собой. У него першило в горле, и в груди точно какая-то пыль осыпала сердце его, и оно билось тяжело, неровно. Он медленно и раздумчиво повторял, не глядя ни на кого:

— Хотел сказать правду . . .

— Дурак! — презрительно сказал Маякин. — Какую ты можешь сказать правду? Что ты понимаешь?

— У меня сердце изболело . . . Нет, я правду чувствовал!

Кто-то сказал:

— По речам его очень видно, что помутился он разумом . . .

— Правду говорить — не всякому дано! — сурово и поучительно заговорил Яков Тарасович, подняв руку кверху. — Ежели ты чувствовал — это пустяки! И корова чувствует, когда ей хвост ломают. А ты — пойми! Все пойми! И

врага пойми . . . Ты догадайся, о чем он во сне думает, тогда и валяй!

По обыкновению Маякин увлекся было изложением своей философии, но вовремя поняв, что побежденного бою не учат, остановился. Фома тупо посмотрел на него и странно закачал головой . . .

— Отстань от меня! — жалобно попросил Фома. — Все ваше! Ну — чего еще вам?

Все внимательно прислушивались к его речам, и в этом внимании было что-то предубежденное, зловещее . . .

— Жил я, — говорил Фома глухим голосом. — Смотрел . . . Нарвало у меня в сердце. И вот — прорвался нарыв . . . Теперь я обессилел совсем! Точно вся кровь вытекла . . .

Он говорил однотонно, бесцветно, и речь его походила на бред . . .

Яков Тарасович засмеялся.

— Что же, — ты думал языком гору слизать? Накопил злобы на клопа, а пошел на медведя? Так, что ли? Юродивый! . . Отец бы твой видел тебя теперь — эх!

— А все-таки, — вдруг уверенно и громко сказал Фома, и вновь глаза его вспыхнули, — все-таки — ваша во всем вина! Вы испортили жизнь! Вы все стеснили . . . от вас удушье . . . от вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки — правда! Вы — окаянные! Будь вы прокляты все . . .

Он забился на стуле, пытаясь освободить руки, и закричал, свирепо сверкая глазами:

— Развяжите руки!

Его окружили теснее; лица купцов стали строже, и Резников внушительно сказал ему:

— Не шуми, не буянь! Скоро в городе будем . . . Не срамись, — да и нас не срами . . . Не прямо же с пристани — в сумасшедший дом тебя?

— Да-а?! — воскликнул Фома. — Так вы меня в сумасшедший до-ом?

Ему не ответили. Он посмотрел на их лица и поник головой.

— Веди себя смирно, — развяжем! . . — сказал кто-то.

— Не надо! — тихо заговорил Фома. — Все равно . . .

И речь его снова приняла характер бреда.

— Я пропал . . . знаю! Только — не от вашей силы . . . а от

своей слабости . . . да! Вы тоже черви перед Богом . . . И — погодите! Задохнетесь . . . Я пропал — от слепоты . . . Я увидал много и ослеп . . . Как сова . . . Мальчишкой, помню . . . гонял я сову в овраге . . . она полетит и треснется обо что-нибудь . . . Солнце ослепило ее . . . Избилась вся и — пропала . . . А отец тогда сказал мне: вот так и человек: иной мечется, мечется, изобьется, измучится и бросится куда попало . . . лишь бы отдохнуть! . . Эй! развяжите мне руки . . .

Лицо его побледнело, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, он закачался на стуле, ударяясь грудью о край стола, и стал что-то шептать.

Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая друг друга под бока, молча кивали головами на Фому. Лицо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высеченное из камня.

— Может, развязать? — шептал Бобров.

— Нет, не надо . . . — вполголоса сказал Маякин. — Оставим его здесь . . . а кто-нибудь пусть пошлет за каретой . . . Прямо в больницу . . . .

Он пошел к рубке, тихо сказав:

— Постерегите . . . как бы, чего доброго, в воду не прыгнул . . .

— А — жалко парня! . . — сказал Бобров, посмотрев вслед ему.

— Никто в дурости его неповинен! . . — хмуро ответил Резников.

— Яков-то . . . — кивнув головой вслед Маякину, шопотом сказал Зубов.

— Что Яков? Он тут не проиграл . . .

— Н-да-а . . . он теперь опечет!

Их тихий смех и шопот сливались со вздохами машины и, должно быть, не достигали до слуха Фомы. Он неподвижно смотрел пред собой тусклым взглядом, и только губы у него чуть вздрагивали . . .

— Сын к нему явился . . . — шептал Бобров.

— Я его знаю, сына-то, — сказал Ящуров. — Встречал в Перми . . .

— Что за человек?

— Деловой . . . Большим орудует делом в Усолье . . .

— Стало быть — этот Якову не нужен . . . Н-да . . . вон оно что!

— Глядите — плачет!

— О?

Фома сидел, откинувшись на спинку стула и склонив голову на плечо. Глаза его были закрыты и из-под ресниц одна за другой выкатывались слезы. Они текли по щекам на усы . . . Губы Фомы судорожно вздрагивали, слезы падали с усов на грудь. Он молчал и не двигался, только грудь его вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрели на бледное, страдальчески осунувшееся, мокрое от слез лицо его с опущенными книзу углами губ и тихо, молча стали отходить прочь от него . . .

И вот Фома остался один со связанными за спиной руками пред столом, покрытым грязной посудой и разными остатками пира. Порой он медленно открывал тяжелые опухшие ресницы, и глаза его сквозь слезы тускло и уныло смотрели на стол, где все было, опрокинуто, разрушено . . .

Прошло года три.

С год тому назад Яков Тарасович Маякин умер. Умирая в полном сознании, он остался верен себе и за несколько часов до смерти говорил сыну, дочери и зятю:

— Ну, ребята, — живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора долой со двора . . . Видите — умираю, а не унываю . . . И это мне Господь зачтет . . . Я Его, Всеблагого, только шутками беспокоил, а стоном и жалобами — никогда! Господи! Рад я, что умеючи пожил — по милости Твоей! Прощайте, детушки . . . Живите дружно . . . не мудрствуйте очень-то. Знайте — не тот свят, кто от греха прячется да спокойненько лежит . . . Трусостью от греха не оборонишься — про это и говорит притча о талантах . . . А кто хочет от жизни толку добиться — тот греха не боится . . . Ошибку Господь ему простит . . . Господь назначил человека на устроение жизни . . . а ума ему не так уж много дал — значит, строго искать недоимок не станет! . . Ибо свят Он и многомилостив . . .

Умер он после краткой, но очень мучительной агонии . . .

Ежова за что-то выслали из города, вскоре после происшествия на пароходе.

В городе возник новый крупный торговый дом под фирмой «Тарас Маякин и Африкан Смолин» . . .

За все три года о Фоме не слышно было ничего. Говорили, что после выхода из больницы Маякин отправил его куда-то на Урал к родственникам матери.

Недавно Фома появился на улицах города. Он какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он появляется — то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блаженненького. Иногда он буянит, но это редко случается. Живет он у сестры на дворе, во флигельке . . .

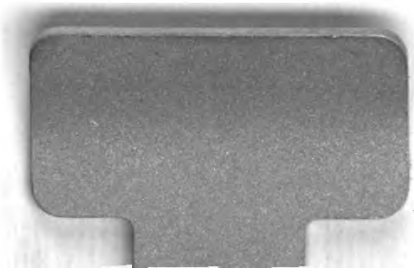
Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним. Идет Фома по улице, и вдруг кто-нибудь кричит ему:

— Эй ты, пророк! Подь сюда!

Фома очень редко подходит к зовущему его, — он избегает людей и не любит говорить с ними. Но если он подойдет, — ему говорят:

— Ну-ка, насчет светопреставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!

. . . . . .

Типография Шпамера в Лейпциге

783106